



ЧЕРНЫЕ СТЯГИ ЭПОХИ

Борис ХАЗАНОВ

ЧЕРНЫЕ  
СТЯГИ  
ЭПОХИ

Борис ХАЗАНОВ

## **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



**НЕЗАВИСИМЫЙ  
АЛЬЯНС**





Борис ХАЗАНОВ

ЧЕРНЫЕ  
СТЯГИ  
ЭПОХИ

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2019

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
X 152

**Хазанов Б.**

X 152 Черные стяги эпохи / Б. Хазанов. – СПб.: Алетейя, 2019. – 286 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-907189-89-8

Книга содержит три связанных общей тематикой произведения: роман, повесть и документально-исторический очерк.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-907189-89-8



9 785907 189898

© Б. Хазанов, 2019  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Бессонная память воскрешает мимолётную сцену. Меня снаряжают перед отправкой в лесную школу. Я стою перед столом, на котором папа укладывает в стопку мои вещи. Папа разворачивает зимнюю кофту и на оборотной стороне воротника пишет карандашом своим крупным красивым почерком:

ГЕНЯ ФАЙБУСОВИЧ, 12 лет.

Школа-интернат находится в подмосковных Сокольниках. Канун Нового, тысяча девятьсот первого года. Предстоит провести здесь полгода, последние зиму и весну детства. Я ужасно огорчён отъездом моего отца. Я остался в незнакомой школе один. Папа бросил меня на произвол судьбы.

В июне начнётся война. К ней готовились, ждали её, но война грянула неожиданно. Никто ни о чём не подозревал. Будущее, голодный желтоглазый хищник, затаилось в непроглядной чаще времён, оскаленное, дожидалось своего часа. Будущее пожрало всё, и эту школу, и наш дом в Большом Козловском переулке, и эвакуацию, и жизнь за тысячу вёрст от Москвы, и отрочество, и отчаянные попытки стать писателем. Никто ни о чём не догадывался, ничего заранее не знал.

Я взялся за эти заметки с намерением рассказать о недуге, первые симптомы которого появились в 8, в 9 лет, когда, лёжа в Филатовской детской больнице, в дифтерийном изоляторе, я сочинял стихи, придумывал нечто вроде пьесы. Смутное предчувствие осложнения литературной болезни неисцелимого одиночества, коему обреку себя на годы и десятилетия, настигло меня уже тогда.

Писатель должен быть одинок, много позже я постиг эту аксиому творчества. И ещё одно. Лишь со временем, с трудом, стало очевидным, что литература есть открытие самого себя.

Эта книга содержит три сочинения — роман, повесть и некий историко-документальный очерк. Все три части этой трилогии связывает общая тема, — война. Нелишне будет напомнить о персонаже, чье имя стоит на обложке. Выходец из не существующей более страны, родился, как Онегин, на берегах Невы. Вырос в Москве. Иудей, пишущий по-русски. Писателем, с советской точки зрения, никогда не был, иначе говоря, не состоял членом Союза Писателей. В этом не следует видеть особую заслугу, учитывая только что изложенные воззрения сочинителя на смысл и суть своего ремесла. Другой, не менее скандальный вопрос — каким образом автор, никогда не бывавший на фронте, не нюхавший пороху, позволяет себе трактовать о войне. Мне остаётся лишь сослаться на немалый труд, вложенный в эти границы. О результатах судить тому, кто наберётся терпения прочесть книгу.

*Б. Хазанов*

*Мюнхен, июль 2019*

**ДЕСЯТЬ ПРАВЕДНИКОВ  
В СОДОМЕ**

**История одного заговора**



## *Игра в рулетку*

Некоторые ключевые моменты истории заставляют поверить, что миром правит случай. Столяр-краснодеревщик Георг Эльзер трудился много ночей в подвале мюнхенского пивного зала «Бюргерброй», замуравывая в основание столба, поддерживающего потолок рядом с трибуной, весьма совершенную, собственного изготовления бомбу замедленного действия с двумя часовыми механизмами. Адская машина детонировала 8 ноября 1939 года, в годовщину неудавшегося путча 1923 г., в десятом часу вечера, когда в переполненном зале, внизу и на балконах, сидело три тысячи «старых борцов». Было известно, что вождь говорит как минимум полтора часа. К полуночи он должен был вылететь в Берлин. Но прогноз погоды был неблагоприятен. Адъютант связался по телефону с вокзалом, к уходящему в половине десятого берлинскому поезду был подцеплен салон-вагон фюрера. Речь в пивной пришлось сократить и начать на полчаса раньше. В восемь часов грянул Баденвейлерский марш, загрели сапоги, в зал с помпой было внесено «красное знамя». Гитлер взошёл на трибуну — и успел покинуть пивную за восемь минут до взрыва.

Если бы не счастливая — следовало бы сказать: несчастливая — случайность, вместе с обвалившимся потолком, с разнесённой в щепы трибуной взрыв, уничтожив оратора, угробил бы и его режим. Только что начатая война была бы прекращена. Германия не напала бы на Советский Союз, не была бы разрушена и расчленена, не было бы Восточного блока, холодной войны и так далее.

Если бы, говорит Паскаль, нос Клеопатры был чуть короче, история Рима была бы иной. Можно нанизывать сколько угодно таких «если бы». Стрелочник (если предположить существование подобного метаисторического персонажа) по недоразумению или капризу перевёл стрелку не в ту сторону,

и поезд свернул на другой путь. Что такое случай? То, чего по всем статьям не должно было случиться. И что, тем не менее, случилось. Что было бы, если бы 20 июля 1944 года в Волчьей норе, ставке фюрера в Восточной Пруссии, судьба не спасла нацистского главаря, если бы он, наконец, испустил дух, вместо того, чтобы отделаться мелкими повреждениями? Осуществилась бы надежда заговорщиков отвести катастрофу, предотвратить оккупацию, сохранить суверенность страны? Нет, конечно: судьба Германии была решена. Но война закончилась бы на десять месяцев раньше. Убитые не были бы убиты, не погибли бы города, вся послевоенная история выглядела бы немного иначе.

### *Сопrotивление*

О партии Гитлера нельзя было сказать (как о партии большевиков в России накануне октябрьского переворота), что в марте 1933 года она представляла собой незначительную кучку фанатиков, и всё же на выборах ей не удалось собрать большинство голосов. Семь миллионов избирателей голосовало за социал-демократов, шесть миллионов за католическую партию центра и мелкие демократические партии, пять миллионов за коммунистов. То, что национал-социализм и в первые месяцы, и в последующие 12 лет «тысячелетнего рейха» встречал более или менее активное сопротивление, неудивительно: несмотря на симпатии самых разных слоёв населения, у него оставалось немало противников. И всё же это сопротивление, от глухой оппозиции до покушений на жизнь диктатора, достойно удивления, ибо оно существовало в условиях режима, казалось бы, подавившего в зародыше всякую попытку сопротивляться. Тот, кто по опыту жизни знает, что такое тоталитарное государство, знает, что значит перечить этому государству. Два фактора — между которыми, впрочем, трудно провести границу — обеспечивают его монолитность: страх и энтузиазм. Страх перед вездесущей тайной полицией и восторг перед сапогами вождя.

Заговор 20 июля, которому теперь уже более полу столетия, не был единственной попыткой радикально изменить по-

ложение вещей. Он был не единственным примером внутреннего сопротивления нацизму. Вскоре после капитуляции писатель Ганс Фаллада раскопал в архиве гестапо дело берлинского рабочего Отто Квангеля и его жены: оба рассылали наугад почтовые открытки-воззвания против Гитлера и войны; случай, послуживший основой известного романа «Каждый умирает в одиночку». О мюнхенской студенческой группе «Белая роза», о расправе с её участниками стало известно тоже в первые послевоенные годы. О многих других — опять-таки в самых разных слоях населения — узнали лишь в самое последнее время.

При всём том, однако, Двадцатое июля не имело себе равных по масштабам подготовки и разветвлённости. В заговоре участвовали люди разного состояния, мировоззрения, происхождения: юристы, теологи, священники, дипломаты, генералы; консерваторы, националисты, либералы, социал-демократы; выходцы из среднего класса и знать. То, что их объединяло, было важнее политических расхождений и выше сословных амбиций. Некоторые из них пережили в юности увлечение национал-социализмом. Другие не принимали его никогда. Среди многочисленных участников комплота не оказалось ни одного осведомителя — случай неслыханный в государстве и обществе этого типа. Люди 20 июля хорошо знали, что их ждёт в случае неудачи. Накануне решающего дня многих не оставляло предчувствие поражения. Хотя Германия вела уже оборонительные бои, агрессивная мощь рейха была далеко ещё не сломлена. Заговорщики знали, что они будут заклеены как изменники родины. Но, как сказал Клаус Штауффенберг, «не выступив, мы предадим нашу совесть».

### *3. Не убий*

Истоки заговора восходят к середине тридцатых годов. Время, наименее благоприятное для успеха: режим шагал от триумфа к триумфу. Мистическая вера в фюрера стала, чуть ли не всенародной. За несколько лет до нападения на Польшу и начала Второй мировой войны оппозиция выработала планы будущего устройства Германии. Но похоронить нацизм могли

только военные. Это означало нарушить присягу; не каждый мог через это переступить. Традиция запрещала прусскому и немецкому офицеру вмешиваться в политику. Его первой и второй заповедью были верность и повиновение. Государственными делами пусть занимаются другие; долг солдата — защищать отечество. Противоречие усугубилось с развитием событий: если страна воюет, как может он нанести ей удар в спину?

Другую этическую проблему представляло тираноубийство. Было ясно — или становилось всё ясней, — что до тех пор, пока фюрер жив или по крайней мере не обезврежен, изменить существующий строй невозможно. Убийство же, вдобавок почти неизбежно сопряжённое с гибелью других, противоречило христианским убеждениям многих участников заговора, не исключая самых видных, например, таких, как граф Мольтке. С другой стороны, начавшаяся война чрезвычайно затруднила доступ к окружению диктатора. Гитлер уже не выступал публично. Большую часть времени он проводил не в Берлине, а в надёжно защищённых убежищах, вдали и от уязвимого для авиации тыла, и от фронта. Пробраться туда мог лишь заслуженный и проверенный офицер высокого ранга. Как мы знаем, такой человек нашёлся.

### *Пока лишь генералы*

К предыстории 20 июля относятся несколько неосуществлённых проектов переворота. Мы можем сказать о них кратко. В 1938 году, с мая по август, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Людвиг Бек в нескольких памятных записках, направленных вождю и рейхсканцлеру (официальное титулование Гитлера) через посредство верховного главнокомандующего Браухича, пытался убедить фюрера и его окружение отказаться от подготовки к войне. В одном из этих писем Бек даже предупреждал, что если война будет начата, высший генералитет в полном составе подаст в отставку. Но диктаторам не дают советов. Гитлер ответил, что он сам знает, как ему нужно поступать. Что касается забастовки генералов, то осторожный Браухич предпочёл скрыть от фюрера эту часть

письма. Бек ничего не добился, кроме того, что был снят со своего поста; позже мы встретим его имя среди главных участников заговора.

Преемником Бека (с его согласия) стал генерал артиллерии Франц Гальдер, человек более решительного образа мыслей. Вместе с группой единомышленников он разработал детальный план путча.

Осенью 1938 г. ещё не все были согласны с предложением командующего третьим берлинским военным округом генерала, впоследствии генерал-фельдмаршала Эрвина фон Вицлебена физически устранить фюрера. Гальдер и офицеры контрразведки Остер и Гейнц поддержали Вицлебена. План состоял в следующем. По приказу Вицлебена части 3-го армейского корпуса занимают улицы и ключевые учреждения столицы; вместе с чинами своего штаба, под защитой офицерского отряда во главе с Гейнцем, Вицлебен снимает наружную и внутреннюю охрану имперской канцелярии и, минуя Мраморный зал, через коридор проникает в комнату Гитлера. Арест вождя, после чего инсценируется незапланированное убийство: даже если отряды СС против ожидания не окажут сопротивление путчистам, Гейнц и его подчинённые организуют вооружённый инцидент, во время которого Гитлер будет убит.

План не удалось реализовать из-за приезда британского премьера Чемберлена к Гитлеру в Берхтесгаден. За этим неожиданным визитом и конференцией представителей западных держав в Бад-Годесберге под Бонном последовало Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г.; война казалась отсроченной. Но заговорщики не оставили своих намерений. Новый проект переворота был разработан в следующем году. Генерал Гальдер, по должности многократно посещавший рейхсканцелярию, носил в кармане пистолет, чтобы собственноручно прикончить вождя. В Цоссене, к югу от Берлина, где находилось верховное командование, в бронированном сейфе хранился подготовленный Остером стратегический план восстания, текст обращения к народу и армии, состав нового правительства, список нацистских руководителей, подлежащих немедленному аресту и, очевидно, расстрелу: Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Гейдрих, Геринг, Геббельс.

## Крейсау

В 1867 году Гельмут граф фон Мольтке, победитель австрийцев и саксонцев в битве под Кёниггрецом и будущий победитель во франко-прусской войне, получил от короля дотацию на приобретение бывшего рыцарского владения Крейсау близ городка Швейдниц в Нижней Силезии (ныне — территория Польши). В старинном, много раз перестроенном четырёхэтажном доме, который всё ещё по старой памяти называли замком, родился в 1907 году племянник бездетного фельдмаршала Гельмут Джеймс граф фон Мольтке-младший. После смерти отца он унаследовал поместье.

Мольтке был высокий худощавый человек северного типа, сероглазый, с зачёсанными назад светлыми волосами, с красивым прямоугольным лбом. Его дед с материнской стороны был Chief Justice (главный судья) в Южно-Африканском Союзе; внук перенял от него профессию юриста. Он получил юридическое образование в Оксфорде и позднее часто бывал в Англии, стал немецким и английским адвокатом в Берлине. Во время войны Мольтке служил в юридическом отделе иностранной контрразведки при верховном командовании вермахта. (Напомним, что контрразведку возглавил адмирал Вильгельм Канарис, расстрелянный как участник сопротивления полевым трибуналом СС весной 1945 г. в концлагере Флоссенбюрг.)

Рейх начал Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. К этому времени относятся первые проекты свержения национал-социалистического режима, составленные Гельмутом Мольтке и отпечатанные на машинке его женой; в дальнейшем Фрейя фон Мольтке перепечатывала все документы и умудрилась их сохранить. Примерно с 1940 года в усадьбе Крейсау, в старом замке, а чаще в соседнем небольшом доме, который назывался Бергхауз, собирались друзья Мольтке. Встреча с дальним родственником, юристом и офицером верховного командования Йорком фон Вартенбургом, положила начало регулярным собраниям. Весной, на Троицу, и осенью приезжало 10–12 человек. Гостей встречали с экипажем и фонарями на маленькой железнодорожной станции. Впослед-

ствии в протоколах гестапо эти собрания, в которых участвовало в общей сложности около 40 человек, обозначались как Крейсауский кружок. С этим названием они вошли в историю.

### *Куда деть фюрера?*

Здесь нужно упомянуть некоторых участников из числа тех, кто составил ядро кружка Крейсау. Адам фон Тротт цу Зольц, потомок старого гессенского рода, учившийся, как и Мольтке, в Оксфорде, занимал, несмотря на свою молодость, один из ключевых постов в министерстве иностранных дел. Видным дипломатом был также посольский советник Ганс-Бернд фон Гефтен. Учитель гимназии Адольф Рейхвейн в прошлом состоял в социал-демократической партии и был профессором педагогической академии. Бывшим социал-демократом был Юлиус Лебер, сын рабочего из Эльзаса, во времена Веймарской республики депутат рейхстага; он успел отсидеть четыре года в концлагере, затем возобновил контакты с бывшими товарищами по разгромленной партии, связался с обоими мозговыми центрами сопротивления — Крейсауским кружком и группой Герделера (о которой будет сказано ниже), познакомился со Штауфенбергом — будущей центральной фигурой мятежа, вместе с Рейхвейном пытался наладить связь с коммунистическим подпольем. Карл Дитрих фон Трота был референтом министерства экономики. Некогда занимавший пост заместителя начальника берлинской полиции Фриц-Дитлоф граф фон дер Шуленбург цу Циглер (племянник германского посла в Москве графа Шуленбурга-старшего, который тоже был участником сопротивления) после начала войны оставил ряды нацистской партии, был штабным офицером. Писатель Карло Мирендорф не дожил до 20 июля: он погиб во время воздушного налёта в Лейпциге. В советском лагере для интернированных через три года после войны, как предполагают, погиб один из активных членов Крейсауского кружка Хорст Эйнзидель. Гаральд Пельхау был тюремным священником в Тегеле (Берлин). Протестантский теолог Эйген Герстенмайер, деятель Исповедной церкви, оппозиционной по отношению к гитлеризму, сравнительно поздно вступил в кружок, но стал од-

ним из его главных действующих лиц. Участниками дискуссий в Крейсау были отцы иезуиты Лотар Кениг, Ганс фон Галли и Альфред Дельп, которому предложил войти в кружок провинциал ордена Аугустин Реш. Петер граф Йорк фон Вартенбург, из семьи прусских военачальников (предок был союзником Кутузова в войне с Наполеоном), нами уже назван.

Краткая выдержка из «Принципов будущего устройства», датированных августом 1943 г., может дать представление о характере предначертаний Крейсауского кружка:

«Правительство Германской империи видит основу для нравственного и религиозного обновления нашего народа, для преодоления ненависти и лжи, для строительства европейского сообщества наций — в христианстве... Имперское правительство исполнено решимости осуществить следующие требования. Растоптанное право должно быть восстановлено, правопорядок должен господствовать во всех сферах жизни. Гарантируются свобода веры и совести. Существующие ныне законы и положения, которые противоречат этому принципу, отменяются... Право на труд и собственность берётся под защиту государства и общества вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности».

Можно ли претворить в жизнь эти принципы, не покончив с существующим строем? Свергнуть же этот строй невозможно, не покончив с фюрером. Тем не менее граф Мольтке, в отличие от большинства членов кружка, был против покушений на Гитлера. Мольтке считал, что после поражения — а оно представлялось неизбежным — убийство Гитлера и генеральский путч возродят старый миф об «ударе в спину», измене в тылу, из-за которой будто бы Германия проиграла Первую мировую войну.

### *До Урала и дальше*

Одна из многих вышедших в последние десятилетия книг о Мольтке и его окружении называется «Новый порядок группы сопротивления в Крейсау». Члены кружка противопоста-

вили будущее Германии и Европы, каким они хотели его увидеть, «новому порядку» — так именовался на жаргоне пропаганды режим порабождённого Гитлером континента. Но аппетит, разгоревшийся после первых побед, не довольствовался Европой, проекты вождя, которые правильней было бы назвать горячечными грёзами, становились всё грандиозней и теперь уже простирались далеко за её пределы. После разгрома Англии, главного врага, вся огромная и разбросанная по свету Британская империя окажется под владычеством Германии. Мир будет состоять из трёх регионов: Северная и Южная Америка под контролем США, Азия в ведении Японии, Европа, а также бывшие британские и французские колонии в Африке и за океанами — в руках Германии. Россия как самостоятельное государство не существует. Индия и Урал — граница сфер влияния Германии и Японии. Предусматриваются гигантские работы по отстраиванию столицы мира — нового Берлина — согласно проектам лейб-архитектора Шпеера. Восемьдесят четыре тысячи тонн металла должны быть поставлены для строительства величественных сооружений в «столице движения» Мюнхене, городе партийных съездов Нюрнберге, австрийском Линце, где вырос фюрер, и ещё в 27 городах; всё это, не дожидаясь конца войны. В 1950 году будет одержана окончательная победа. Повсеместно пройдут парады, улицы городов заполнят ликующие народные массы и так далее. Особые планы были сочинены для оккупированных стран.

Любопытно сравнить эту дикую футурологию с прогнозами немецкой прессы после 1945 года, когда все или почти все более или менее крупные города Германии лежали в развалинах. Предполагалось, к примеру, что Франкфурт будет восстановлен (если это вообще удастся) к концу века. Немецкая промышленность не возродится, Германия станет второстепенной сельскохозяйственной страной.

Вернёмся к началу войны. Абсолютной гарантией успеха в глазах Гитлера были мощь и превосходство германского оружия. Капитуляция наследственного врага — Франции, которая ещё совсем недавно считалась сильнейшим государством западного мира, триумфальный марш по странам Европы как будто оправдывали эту уверенность. Между тем военачальники и военные эксперты понимали, что географическое поло-

жение рейха в центре Европы в стратегическом отношении обещает не одни лишь выгоды. Почти неизбежная война на два, а то и на три фронта может оказаться затяжной; с Россией, страной громадных расстояний, сурового климата и плохих дорог, связываться опасно; сломить морское могущество Великобритании непросто; вступление в войну Соединённых Штатов Америки, с их неисчерпаемыми ресурсами, сделает победу вовсе невозможной. Люди антинацистского подполья, офицеры и штатские, ясно видели, что война, так успешно начавшаяся, будет проиграна, и притом с такими потерями, которые не идут ни в какое сравнение с катастрофой 1918 года.

## *Берлин*

Вторым мозговым центром заговора, как уже сказано, был кружок Герделера в Берлине. Карл Фридрих Герделер, сын депутата прусского ландтага, родился в 1884 г. в Шнейдемюле, главном городе провинции Познань–Западная Пруссия (нынешнем центре польского воеводства Пила), и был воспитан в старорежимных традициях трудолюбия, протестантской умеренности, порядочности, безупречной честности, почитания памяти Фридриха Великого и верности монархии Гогенцоллернов. Как и отец, он стал политиком либерально-консервативного толка, во времена Веймарской республики был вторым бургомистром Кенигсберга, затем обер-бургомистром Лейпцига, где его застала национал-социалистическая революция. Опыт, репутация, заслуги сделали Герделера тем, что в Германии называется «гонорациор» (престижный общественный деятель), — отсюда до оппозиции Гитлеру был один шаг.

Летом 1936 г., когда в стране наметилась кризисная финансово-экономическая ситуация, Герман Геринг, к многочисленным чинам и постам которого присоединилась должность «имперского уполномоченного по четырёхлетнему плану», назначил экспертом Герделера. Рекомендации Герделера повергли Геринга по меньшей мере в изумление: следовать им значило круто повернуть внутривластный курс. В это время Герделер ещё предполагал у властителей здравый смысл и честные намерения. Спустя год-другой от этих иллюзий не осталось и следа.

К концу сорок первого года — война уже пылала вовсю, армейская группа «Центр» приблизилась к Москве, в ходе сражений под Киевом, Брянском и Вязьмой в плену оказался 1 миллион 300 тысяч советских солдат, японский коронный совет принял решение начать военные действия против Америки, Великобритании и Нидерландов, последовало нападение на Пирл-Харбор, после начала русского контрнаступления Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Браухича с поста верховного главнокомандующего и назначил верховным себя — к концу года мы находим Карла Герделера в роли одной из центральных фигур антигитлеровского заговора. Герделеру удалось наладить связь с разными ячейками сопротивления. В Берлине вокруг него сплотилась кучка единомышленников, среди них были отставной генерал Людвиг Бек, дипломат, в прошлом посол в Копенгагене, Белграде и Риме Ульрих фон Гассель, прусский министр финансов Иоганнес Попиц. Возникли контакты с представителями «христианских профсоюзов» и Фрейбургским оппозиционным кружком университетских профессоров. Нити от кружка Герделера протянулись к генеральному штабу армейской группы «Центр», где занимал высокий пост Геннинг фон Треско, о котором пойдёт речь особо.

### *Два сценария*

Крейсауский кружок состоял по большей части из молодых людей; в берлинском кружке задавали тон «старички» — не только в прямом смысле. Между господами из кружка Герделера, которых Мольтке иронически называл «их превосходительствами», и группой Крейсау существовали значительные расхождения. Говоря схематически, берлинский кружок был консервативным и националистическим, крейсауский — либеральным, отчасти социал-демократическим и прозападным. Герделер не был приверженцем демократии — во всяком случае, в той её форме, которая в наши дни получила название массового общества. Веймарская республика, первое немецкое демократическое государство, не внушала ему симпатий. Сброшившей нацизм Германии предстояло вернуться к тради-

циям империи Бисмарка. Её границы должны были соответствовать границам накануне Первой мировой войны, территориальные потери, нанесённые Версальским договором, — тут их превосходительства сходились с Гитлером — надлежало восстановить. Другими словами, будущая Германия должна была включать Эльзас и Лотарингию, «польский коридор», отделивший Восточную Пруссию от основной территории рейха, должен был исчезнуть с политической карты. Аннексированная в 1938 г. Австрия и населённый немцами Итальянский Тироль тоже должны были принадлежать «нам». Для немецких евреев — любопытная деталь — предлагался сионистский рецепт: «своё государство». (Преступления против евреев в большой мере определили оппозиционность Герделера — подобно тому, как они побудили Мольтке, Йорка фон Вартенбурга, адмирала Канариса, да и многих других сделать решающий выбор между конформизмом и сопротивлением.)

Таким образом, Германии предназначалось и после войны оставаться обширнейшим и могучим государством Западной Европы. В январе 1943 г. был составлен список членов будущего правительства; Бек должен был стать главой государства, Герделер — председателем совета министров. Герделер набросал проект конституции послевоенной Германии, по которому исполнительной власти — канцлеру и совету министров — предоставлялись значительные преимущества перед рейхстагом (парламентом). Существование политических партий не предусматривалось.

Впрочем, и в кружке Мольтке были люди, которым, при всём их преклонении перед британской демократией, не улыбалась многопартийная система; вместо партий предлагалось выборное представительство общин. В целом, однако, представления Крейсауского кружка о будущей свободной и децентрализованной Германии — равноправном члене европейского союза наций, может быть, даже с единой для всей Европы (но без России и Англии) валютой и общими вооружёнными силами, были, конечно, гораздо ближе к нынешнему облику и политическому курсу Федеративной республики, чем имперско-националистический проект Герделера, Бека и других. Зато одним из общих пунктов быо «ордо-либерализм», под ко-

торым подразумевали частно-капиталистическую экономику под контролем государства с целью не допустить хищническое и безудержное предпринимательство. После войны некоторые идеи «ордо-либерализма» воплотились в реформе Эрхардта, с которой началось экономическое чудо.

*1942 год*

Группа «Центр» получила это название первого апреля 1941 г. с назначением взять летом Москву; командовал армейской группой генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, первым офицером (I-а) генштаба был родственник Бока, 40-летний подполковник Геннинг фон Треско. Прусский дворянин Треско был выходцем из военной семьи и женился на дочери военного министра. В юности он, подобно многим, сочувствовал национал-социализму, в «день Потсдама» 21 марта 1933 г., день символической встречи Гитлера с Гинденбургом, маршировал во главе своего батальона мимо нацистского вождя и престарелого фельдмаршала, последнего президента погибшей республики. Довольно скоро энтузиазм сменился глубоким отвращением к режиму убийц, а с началом войны сюда добавилось отчётливое понимание того, что не могли не видеть высшие офицеры вермахта: во главе вооружённых сил стоит дилетант; «величайший стратег всех времён и народов» — всего лишь бывший унтер. Правда, на Восточном фронте ему противостоял другой дилетант, вообще никогда не воевавший, не имеющий военных знаний и лишённый каких-либо следов полководческого таланта.

Война усилила ощущение раздвоенности. С одной стороны, Треско участвовал в разработке военных действий, восхищался тактическим гением Манштейна, творца «серповидной операции», решившей судьбу Франции; сам быстро выдвинулся, слыл способным офицером. С другой стороны — каждая новая победа была победой Гитлера. От группенфюрера СС Артура Небе, который был давним недоброжелателем вождя, Треско узнал правду о концентрационных лагерях. В Борисове, в непосредственной близости от главной квартиры, латышское подразделение СС учинило кровавую расправу над евреями, и

это было отнюдь не самоуправством. К началу зимы сорок первого года Треско удалось сколотить в штабе группу противников режима; адъютант и надёжный друг Фабиан фон Шлабрендорф был командирован с тайной миссией в Берлин — разузнать о других группах в тылу. Так возникли связи с кружком Герделера, где от проектов будущего устройства перешли к планам государственного переворота.

Павших в бою воинов уносят на крылатых конях в Вальгаллу девы-валькирии. План «Валькирия» разработал генерал от инфантерии Фридрих Ольбрихт. Главными очагами восстания должны были стать Кёльн, Мюнхен, Вена и, конечно, Берлин. Войска, расквартированные во Франкфуртена-Одере, займут восточную половину столицы, дивизия «Бранденбург» изолирует ставку фюрера в Восточной Пруссии. Летом следующего, 1942 года Треско поручил своему подчинённому, штабному офицеру I-с Рудольфу Кристофу барону фон Герсдорфу заняться не совсем обычным делом — приготовлением взрывчатки. Герсдорф догадывался, с какой целью; официально считалось — для борьбы с партизанами.

### *Опять повезло*

В последний день января и в начале марта 1943 года капитулировали южная и северная группа окружённых под Сталинградом и в самом городе войск; в плен попали 21 немецкая и две румынские дивизии. 150 тысяч немецких солдат были убиты, 91 тысяча во главе с командующим Шестой армией Фридрихом Паулюсом, за день до капитуляции получившим звание генерал-фельдмаршала, сдалась в плен (из них вернулось домой после войны лишь около 6 тысяч). Гитлер объявил государственный траур. Геринг, патологически тучный, широкозадый и разряженный, как павлин, патетически сравнивал Сталинград с Фермопилами. Доктор Геббельс провозгласил тотальную войну. Германия всё ещё контролировала огромную территорию от греческого архипелага до Норвегии и от Пиренеев до Прибалтики; в тылу у воюющей армии находились западные и южные области Европейской России, Украи-

на, Крым, Северный Кавказ, на Эльбрусе развевался флаг со свастикой. Но вера в победу, вера подавляющего большинства немецкого населения, была потрясена.

В феврале и марте Гитлер совершал инспекционную поездку по ближним тылам, был в Запорожье и Виннице. Геннингу фон Треско удалось добиться, чтобы фюрер дополнительно посетил штаб группы «Центр» под Смоленском. На аэродроме Гитлера со свитой, лейб-врачом и поваром встретили Гюнтер фон Клуге, преемник Бока на посту командующего, и первый офицер штаба, теперь уже полковник Треско. После совещания с армейскими командующими и штабными чинами состоялся обед в офицерском казино. Треско намеревался застрелить Гитлера. Это оказалось невозможным. Перед возвращением на аэродром Треско попросил начальника сопровождающей команды взять с собой в самолёт пакет с двумя бутылками коньяка в подарок одному офицеру в ставке верховного главнокомандующего. К самолёту фюрера подъехал Шлабрендорф с пакетом: в бутылках, снабжённых английским детонационным устройством, находилась смесь тетрила и тринитротолуола.

Короткие проводы, Фокке-Вульф «Кондор» с Гитлером на борту и второй самолёт со свитой исчезли в облаках. Шлабрендорф (которому посчастливилось дожить до конца войны) описал подробности этой истории. Взрыв должен был произойти в воздухе через полчаса после старта. Через два часа поступило сообщение о том, что фюрер благополучно приземлился в ставке. Офицер, для которого якобы предназначался коньяк, не был посвящён в заговор. Полковнику Треско удалось дозвониться до начальника сопровождающей команды, произошла, сказал он, путаница и пакет не надо передавать по адресу. Шлабрендорф срочно выехал в ставку в Восточную Пруссию, передал настоящий коньяк, получил назад невскрытый пакет с адской смесью и убедился, что детонатор не сработал.

### *Новые попытки*

В «День памяти героев» фюрер пожелал осмотреть выставку захваченных на русском фронте трофеев. Это было че-

рез восемь дней после неудачи в самолёте, 21 марта 1943 г. Выставка в берлинском Цейхгаузе была устроена командованием всё той же армейской группы «Центр». Вести почётных гостей и давать объяснения должен был откомандированный с фронта, упомянутый выше барон Герсдорф. Теперь он был уже посвящён в планы заговорщиков и даже выразил готовность пойти на риск погибнуть самому. В левом внутреннем кармане у Герсдорфа помещалось миниатюрное взрывчатое устройство с кислотным детонатором, рассчитанным на короткое время — 10 минут; террорист предполагал, выбрав удобный момент, раздавить в кармане ампулу с кислотой, подложить бомбу поближе к своей жертве, а может быть, и взорваться вместе с вождём.

В это время в штабе под Смоленском Треско, с часами в руках, слушал по радио репортаж о праздновании в Берлине Дня памяти героев. И снова ничего не получилось. Гитлер спешил и, обежав выставку, ускользнул из Цейхгауза. Герсдорф, который уже включил детонатор, успел в уборной обезвредить бомбу.

Можно кратко упомянуть о других попытках. 24-летний, увешанный боевыми наградами капитан Аксель фон дем Бусше-Штрейтхорст, между прочим, ставший на фронте свидетелем того, как украинские СС в Дубно расстреляли перед заранее вырытым могильным рвом пять тысяч евреев, вызвался взорвать себя и Гитлера во время демонстрации новых моделей форменной одежды для армии. Заговорщики ждали этой минуты, чтобы в короткое время овладеть Берлином. Но за день до покушения вагон с экспонатами был разбит при воздушном налёте. Бусше приготовился к новому покушению — вождь неожиданно отбыл на дачу-крепость Бергтоф в Баварских Альпах. Немного времени спустя Бусше был тяжело ранен на фронте, потерял ногу; заменить его должен был Эвальд Генрих фон Клейст, потомок семьи, из которой вышел великий поэт и драматург Генрих фон Клейст. Гитлера предполагалось застрелить во время совещания в Берхтесгадене. По какой-то причине в последний момент охрана не пропустила Клейста на дачу.

Неудачи не сломили волю полковника Треско, они лишь придали ей траурный оттенок героического пессимизма в ду-

хе Ницше. Что бы ни случилось — нужно шагать навстречу року. Очередной, подготовленный Ольбрихтом и другими план «Валькирия IV», предусматривал в качестве главной опоры восстания армию резерва, сосредоточенную вблизи нервных узлов империи. Были заготовлены приказы командирам частей. Оставалось устранить величайшего стратега. Фабиан фон Шлабрендорф, один из немногих оставшихся в живых участников заговора, сохранил для историков слова Треско: «Гитлера надо попытаться убить *coûte que coûte* (любой ценой). Но даже в случае неудачи нужно тем или иным путём осуществить государственный переворот. Дело не только в том, чтобы найти практический выход из тупика, дело в том, что немецкое движение сопротивления должно ценой жизни совершить этот прыжок. Всё остальное несущественно... Бог обещал Аврааму не уничтожить Содом, если там найдётся десять праведников. Будем надеяться, что благодаря нам Господь не испепелит Германию. Все мы готовы к смерти».

### *Армия и режим*

Года за два до описанных событий на горизонте появился майор Шенк фон Штауфенберг.

Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года. В конце XVII столетия баварская линия рода получила баронские привилегии, двести лет спустя Штауфенберги стали графами. Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене, родовом поместье между Ульмом и Аугсбургом. Его брат-близнец умер на другой день после родов; младшие братья были тоже близнецами. Мать Клауса была балтийской дворянкой, праправнучкой прусского полководца Гнейзенау. Отец — шталмейстер и камергер, впоследствии обергофмаршал вюртембергского двора. Можно добавить, что Клаус Штауфенберг приходился двоюродным братом графу Йорку фон Вартенбургу, одной из главных фигур Крейсауского кружка.

Восемнадцати лет Штауфенберг поступил в конный полк, затем окончил кавалерийскую школу в Ганновере. Несколько

позже, в числе многообещающих молодых офицеров, с перспективой карьеры в генеральном штабе, он был направлен в берлинскую военную академию.

Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный, тридцатилетний темноволосый и синеглазый молодой человек, светски воспитанный, производивший впечатление одновременно мужественное и девическое, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и нищезанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь.

Граф Штауфенберг мог презирать, с высоты своего офицерского достоинства, вульгарную демагогию, плебейские манеры и отвратный немецкий язык фашистского вождя, мог безразлично отстраняться от людей этого сорта, но активного протеста переворот 1933 года, — как и то, что за ним последовало, — у Штауфенберга не вызвал. Считалось даже (до недавних пор), что он был в молодости горячим сторонником Гитлера. Исследования опровергают эту версию. Верно, однако, что он разделял взгляды и настроения своей касты. У Веймарской республики было гораздо меньше сторонников, чем врагов. Офицерство чуть ли не по определению было её недругом. Ненависть к демократии и демократам, воинственный национализм, дух агрессивной молодости и дисциплинарный пафос, призывы к национальному сплочению, решимость свести счёты с внешними и внутренними врагами за все потери, за унижение немецкого отечества, потерпевшего поражение в 1918 году, как хотелось верить, не на поле битвы, а в результате предательства, покончить с Версальским договором, в самом деле кабальным, — весь этот набор нацистских лозунгов, вся эта фразеология не могли не вызвать — в той или иной мере — сочувствия в офицерской среде. То, что в первые же недели национал-социалистической революции были ликвидированы политические партии, отменены гражданские права, учреждена свирепая цензура, политические противники заключены в срочно созданные концлагеря, не слишком волновало этих людей; об антисемитизме и говорить нечего; в большей или меньшей степени его разделяли многие; хаотическую книгу Гитлера «Моя борьба», где ещё в 1924 г. была выдвину-

та программа уничтожения евреев, вообще никто не читал. Когда же с помпой провозглашённая Третья империя (первая — средневековая Священная Римская империя, вторая — империя Гогенцоллернов) аннулировала в одностороннем порядке 160 статью Версальского договора и принялась накачивать военные мышцы, когда была введена всеобщая воинская повинность, — к 1939 г. вермахт должен был насчитывать 36 дивизий, свыше полумиллиона солдат, соответственно возрасти должен был и командный состав, для десятков тысяч откроются возможности карьеры, а там и вдохновляющее видение новой, на сей раз победоносной кампании, — сердца вояк были отданы новому режиму. Мы видели, что волчий облик режима и действительность войны радикально отрезвили многих — одних раньше, других позже.

### *Рубикон*

Штауфенберг участвовал в «польском походе», в разгроме Франции; был откомандирован на восточный фронт, где состоялось знакомство с подполковником Треско; зимой сорок третьего года, в дни сталинградской катастрофы, в Таганроге безуспешно пытался склонить командующего войсковой группой «Дон» Манштейна (изрядно разочарованного в Гитлере) к участию в антигитлеровском заговоре. На вопрос, что делать с самим диктатором, Штауфенберг ответил: «Убить!».

Приехав домой с фронта в трёхнедельный отпуск, он узнал, что его переводят в Северную Африку, в танковый дивизион на должность первого штабного офицера I-а.

Когда Африканский корпус Роммеля, прославленного «лиса пустыни», был остановлен на границе Ливии и Египта войсками фельдмаршала Монтгомери, начались затяжные бои. Как-то раз Штауфенберг, объезжая позиции, ночью, в крошечной тьме был обстрелян: оказалось, что он попал в расположение противника. Громко по-английски он отдал приказ прекратить огонь. Решив, что в машине сидит высокий британский чин, солдаты расступились, Штауфенберг пронёсся мимо и, обернувшись, крикнул: «Можете продолжать».

Армия отступала; за месяц до капитуляции немецко-итальянской группы войск в Тунисе (в плен попало около 200 тыс. человек, больше, чем под Сталинградом), в начале апреля 1943 г., случилось несчастье: штабную машину 10-го дивизиона атаковал на бреющем полёте американский бомбардировщик в открытом поле близ Меццуны, в пятидесяти километрах от побережья. Этот был тот самый участок, где на другой день, прорвав фронт, соединились английские и американские части.

Из развороченного бомбой автомобиля извлекли полумёртвого Штауфенберга. Он выжил; ему ампутировали правую руку до плеча и два пальца на левой руке; он потерял левый глаз. Штауфенберг выписался через три месяца из госпиталя в Мюнхене и остался на военной службе. Только так он мог осуществить своё непреклонное намерение покончить с Гитлером. Зимой была налажена связь с Герделером и его людьми. Наступил 1944 год. В Крейсау граф Мольтке говорил друзьям: «Какой год нам предстоит! Если мы останемся в живых, все остальные годы поблѣкнут перед ним...». Действительно, медлить и выжидать больше было невозможно. В конце концов все обсуждения и приготовления свелись к одному: спасти Германию.

### *Зарницы*

На самом деле то, что «предстоит», было совсем рядом. Утром 19 января 1944 года в берлинскую контору Гельмута фон Мольтке явились гости из гестапо, он был арестован и увезён в подвалы главного комплекса зданий тайной полиции на Принц-Альбрехт-штрассе, нечто сходное с московской Лубянкой. Арест, судя по всему, не имел отношения к собраниям в Крейсау. Узнав стороной, что за одним из его знакомых, который позволил себе крамольные высказывания, ведётся слежка, Мольтке счёл своим долгом предупредить его об опасности. Долг долгу рознь: на Мольтке в свою очередь был сделан донос; ему вменялось в вину «забвение долга». Две-три недели спустя он был переведён в тюрьму при лагере Равенсбрюк в Мекленбурге. Жена посещала Мольтке, он содержался в относительно сносных условиях; после 20 июля, однако, всё изменилось.

Тучи сгустились и над Карлом Гёрделером. Просочились сведения о том, что готовится арест. В чём дело, о чём могло разнюхать гестапо, оставалось неизвестным. Гёрделер уехал к родителям в Восточную Пруссию, где скрывался вплоть до 20 июля и ещё некоторое время спустя.

### *Доложите обстановку*

Положение на фронтах к середине июля 1944 года было следующим.

На юге генерал Александер, командующий силами союзников в Италии, продвигаясь вверх по Аппенинскому полуострову, овладел Вечным городом и приблизился к Пизе и Флоренции. На Западе немногим больше месяца тому назад, после многомесячных бомбардировок транспортных артерий во Франции и Бельгии, английские, американские и канадские части под началом Эйзенхауэра высадились в Нормандии — открылся давно обещанный второй фронт. Теперь союзники находились на подступах к Нанту и Руану. За три дня до покушения на Гитлера генерал-фельдмаршал Роммель, назначенный командиром армейской группы «Б» в Северной Франции, был тяжело ранен, его место занял Клуте, не обладавший военным гением Роммеля.

Капитальную угрозу, однако, представлял восточный фронт, где Красная Армия, терпя большие потери, наступала на всех важнейших участках; 38 дивизий вермахта были перемолоты в короткое время; лишь на севере немцам удалось остановить дальнейшее продвижение. Линия фронта проходила вдоль бывшей границы с Эстонией, через Латвию, готовилось вторжение в Восточную Пруссию (20 июля бои шли приблизительно в 200 километрах от ставки). Началось наступление на Варшаву, Люблин, Львов; на юге войска 2-го и 3-го украинских фронтов заняли часть Молдавии и перешли румынскую границу.

Еженощно союзная, главным образом английская, бомбардировочная авиация громила немецкие города, еженощно под развалинами гибли тысячи жителей; тяжёлые разрушения понесли Гамбург, Берлин, города Рурского уголь-

ного, железнорудного и промышленного бассейна. Начались систематические налёты на румынские нефтяные прииски, главный источник горючего для промышленности, авиации и танков.

### *Волчья нора (1)*

Задача — убить сразу трёх: Гитлера, Гиммлера и Геринга; после этого одновременно во многих местах должен был вспыхнуть мятеж. Возможность представилась 6 июля, когда полковнику генерального штаба графу Штауфенбергу надлежало принять участие в двух обсуждениях обстановки на фронтах в альпийской крепости Гитлера Берггоф в Берхтесгадене. Штауфенберг прилетел с бомбой в портфеле, но Гиммлер и Гёринг не явились. Через пять дней подоспел новый случай, Штауфенберг был снова вызван в Берггоф. Адъютант приготовил машину и самолёт, с тем чтобы тотчас после включения детонатора Штауфенберг мог вернуться в Берлин, центр восстания. Начальник общевойскового управления верховного командования генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-фельдмаршал Вицлебен, Йорк фон Вартенбург — знакомые нам лица — ждали сигнала. Но Гиммлер снова отсутствовал, и снова Штауфенберг предпочёл отложить покушение.

Наконец, 15 июля Гитлер прибыл в Растенбург (ныне Кентшин, Польша), уездный городишко с военным аэродромом, некогда цитадель Тевтонского ордена; вокруг — густые хвойные и лиственные леса, камышовые озёра, обычный ландшафт Восточной Пруссии. В шести километрах от аэродрома находилась главная штаб-квартира верховного главнокомандующего, так называемая Волчья нора, обширная, отгороженная со всех сторон площадка. Собственно «норой» был подземный бункер фюрера под бетонным покрытием толщиной в семь метров; бункер гарантировал полную безопасность в случае воздушного налёта. Несколько поодаль стояли дом для адъютантов и барак, где происходили совещания. Внутри барака коридор, комнатка дежурного, рабочее помещение и просторная (60 кв. метров) комната в пять окон с массивным,

шестиметровой длины прямоугольным столом на двух тумбах. В углу справа от входа — круглый столик стенографиста. Барак был деревянный, крыша бетонирована, стены проложены стекловатой.

Итак, снова назначено совещание, Штауфенберг, отвечавший за состояние резервной армии (которую предполагалось ввести в действие в случае вторжения русских на территорию рейха), прилетел для доклада в Растенбург из столицы, где он жил в квартире своего брата Бертольда и работал в генштабе сухопутных сил на Бендлерштрассе. Вместе с одноруким полковником прибыл генерал Фридрих Фромм, посвящённый в заговор. Несколько заградительных оцеплений и постов охраняли дорогу к ставке. На самой территории, перед входом в барак — но не внутри — стояли телохранители вождя. Штауфенберг оставил портфель с бомбой в большой комнате. На этот раз он решил выполнить свой план, даже если бы оказалось, что Гиммлер и Геринг не участвуют в совещании. Сообщили, что шеф тайной полиции наверняка будет здесь; но до половины третьего, когда всё закончилось, он так и не приехал; не было и Геринга.

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник штаба верховного командования (повешенный по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1946 г.), пожелал предварительно ознакомиться с докладом; речь шла о подготовке 15 «народно-гренадёрских» дивизий, укомплектованных юнцами из нацистской «Гитлер-югенд» (аналог комсомола). Затем все трое — Кейтель, Фромм и Штауфенберг — вышли из барака. Вскоре из бункера появился Гитлер. Сохранилась фотография: фюрер пожимает руку кому-то из генералов, рядом, вытянувшись в струнку, стоит граф.

Покушение и на этот раз не состоялось. Уже в ходе совещания выяснилось, что Штауфенберг должен докладывать последним; успеть включить зажигательное устройство и покинуть барак не было никакой возможности. Он вернулся в Берлин. Через несколько дней пришёл новый приказ из ставки: явиться для доклада 20 июля.

## Новый Сулла

Капитан вермахта Эрнст Юнгер, прозаик, эссеист, диарист, самый, может быть, значительный немецкий писатель из тех, кто не эмигрировал после 1933 года, находился с начала Второй мировой войны на западном фронте, участвовал в походе на Францию и провёл, если не считать коротких отпусков и командировки на Украину и Северный Кавказ, два года в оккупированном Париже при штабе командующего оккупационными силами во Франции генерала Карла-Генриха фон Штюльпнагеля. Юнгер дружил с Штюльпнагелем, знал о том, что тот примкнул к заговору с целью совершить государственный переворот, знал других участников сопротивления, но сам к нему не присоединился. В дневниках, составивших книгу «Излучения», имеется запись (от 29 апреля 1944 г.), из которой видно, что Юнгер скептически относился к этой аванюре. Движущей силой заговора, по его мнению, является «моральная субстанция», религиозные и нравственные убеждения участников, тогда как успех может быть достигнут только при условии, что во главе движения станет «какой-нибудь Сулла», «простой народный генерал».

Таким Суллой, замечает новейший биограф Юнгера П. Ноак, мог бы стать Роммель. Но в апреле 1944 г. Роммель занят подготовкой к отражению угрозы вторжения, а вскоре после этого, как мы знаем, выходит из игры.

Прав ли был Юнгер? Какой смысл имел заговор, стоивший жизни всем или почти всем его участникам? Это были люди, прекрасно осведомлённые о ситуации; на что они рассчитывали? Приходится снова задать себе этот вопрос.

Некоторые из них, например, Гёрделер, всё ещё думали, что можно будет заключить сепаратный мир с англичанами и американцами и остановить русских; большинство сознавало иллюзорность этих надежд. Ещё в январе 1943 г. конференция западных союзников в Касабланке завершилась тем, что Рузвельт выдвинул, с общего согласия, требование безоговорочной капитуляции. Заговорщики пытались сложными путями установить с союзниками связь (мы на этих попытках не останавливались). Ничего не вышло: их никто не хотел слушать.

Задав вопрос о смысле «авантюры» (была ли она всего лишь авантюрой?), приходится согласиться, что побуждения участников заговора носили в первую очередь моральный характер. Убрать Гитлера значило уничтожить, как сказал на суде один из заговорщиков, «полномочного представителя Зла в истории». Прекратить войну значило предотвратить дальнейшие бессмысленные жертвы. Покончить с нацизмом означало спасти честь страны. В том, что эти люди были в гораздо меньшей степени политиками, чем защитниками нравственного закона, который восхищал Канта, состояла их слабость. В том, что, вопреки всему, они предпочли действовать, состояло их величие.

### *Молчание*

Спросим себя (несколько раздвинув тему), что делать честному человеку перед лицом преступного режима. Коммунистические идеалы были во многом противоположны идеалам немецкого национал-социализма, противостояние двух режимов заслоняло от многих сходство этих режимов, впрочем, бросавшееся в глаза; осознание подлинного характера советской власти, понимание того, что тоталитарная партия и созданная ею в первые же недели после захвата власти тайная политическая полиция по самой своей природе являются преступными организациями, — сравнительно поздно пришло даже к тем, что честно стремился разобраться в происходящем. Тем не менее по крайней мере в тридцатых годах, не говоря уже о более позднем времени, режим показал себя во всей красе; слепому было ясно, в каком государстве он живёт. Что можно было сделать, можно ли было вообще что-то делать? Эмигрировать было поздно. Любые формы открытого протеста были исключены, самая мысль о свержении существующего строя казалась абсурдной. Убить вождя-каннибала мог лишь тот, кто имел доступ к нему. Как и в Германии, эту задачу могли бы взять на себя только военные. Но ничего подобного Двадцатому июлю не было в СССР; до сих пор мы не слышали о каких-либо признаках активного сопротивления, о каких-либо мятежных замыслах в ближайшем окружении

Сталина или в военной среде. Многочисленные «враги народа» были изобретением тайной полиции. Архивы, которые могли бы кое-что прояснить, остаются под спудом либо уничтожены; в отличие от Германии, где национал-социализм был разбит стальной кувалдой войны, а позднейшие годы стали временем радикального расчёта с прошлым, в России аналогичного сведения счётов не произошло, и до сих пор, по видимому, значительная часть народа не отдаёт себе отчёта в том, какого рода прошлое осталось за его спиной.

Протест, сказали мы, был невозможен. И всё же кто-то протестовал. Автору этой статьи известны группы молодёжи, студенческие кружки, робкие попытки объединиться, чтобы совместно уяснить себе ситуацию, а там, быть может, и перейти к более активным действиям. Эти мальчишки и девочки исчезли бесследно, система тотальной слежки и всенародного доносительства не пощадила ни одного. Но они были, и, может быть, их одинокое возмущение в какой-то мере искупило молчание взрослых.

### *Волчья нора (2)*

Гитлер имел обыкновение ложиться перед рассветом. До десяти часов утра никто не имел права будить фюрера. На лифте в спальню подавался завтрак. Это было как раз то время дня 20 июля 1944 г., когда военный самолёт, в котором сидели полковник Штауфенберг и адъютант Вернер фон Гефтен, приземлился на аэродроме Растенбург. Там ждал «мерседес» с шофёром.

На пути в ставку нужно было миновать три контрольных поста. Штауфенберг имел при себе портфель с бумагами. Адъютант держал на коленях другой портфель, где находилась упакованная в бумагу тетриловая бомба английского образца размером с толстую книгу, с детонатором, рассчитанным на взрыв через тридцать минут после включения.

Дежурный первого поста проверил документы. При въезде во вторую оцеплённую зону Штауфенберга встретил командующий военным округом генерал Тадден, решили вместе позавтракать. Мимо последнего контрольного поста

въехали во внутреннюю зону. Вылезая из машины, Штауфенберг велел шофёру ждать: в 13 часов он должен возвратиться на аэродром.

Три четверти часа ушло на предварительную беседу с Кейтелем. Из бункера позвонил камердинер фюрера Линге: в связи с визитом в Берлин итальянского дуче Муссолини совещание переносится на полчаса раньше. Тем лучше. Штауфенберг попросил адъютанта Кейтеля майора Фрейэнда показать ему туалетную комнату: нужно привести себя в порядок после дороги. «Поторопитесь, Штауфенберг!» — крикнул майор. Штауфенберг вошёл в соседнюю комнатку, где его поджидал адъютант Гефтен. Привезённое с собой находилось в двух пакетах, каждый весом в килограмм. Один пакет успели переложить из сумки Гефтена в портфель Штауфенберга, когда неожиданно вошёл дежурный фельдфебель, чтобы сказать полковнику, что ему звонил из бункера Фельдгигель. (Генерал разведывательной службы Эрих Фельдгигель был тоже посвящён в заговор). Фельдфебель заметил, что полковник и его адъютант взяты с каким-то предметом. Второй килограммовый пакет остался в портфеле Гефтена. На часах была половина первого. Гитлер вошёл в барак.

### *Совещание*

«Иду, иду...» — сказал Клаус Штауфенберг, тремя пальцами искалеченной левой руки, с помощью специально изготовленных щипцов вскрыл ампулу с кислотой, вставил ампулу в предохранительный штифт и соединил с капсюлем-детонатором. С портфелем под мышкой он вошёл в комнату, где уже началось совещание. Его сопровождал ни о чём не подозревавший майор Йон фон Фрейэнд. «Будьте добры, — проговорил Штауфенберг, — позаботьтесь, чтобы для доклада мне уступили место поближе к фюреру...».

На большом столе была разложена карта. Очевидец оставил подробное описание, где кто стоял. Гитлер в центре, напротив входа, за длинной стороной стола. Слева от него Кейтель, справа основной докладчик, генерал-лейтенант Адольф Хейзингер. Остальные вокруг стола и позади стоящих за столом; всего присутствовало 24 или 25 человек.

Доложили о приходе полковника графа Шенка фон Штауфенберга. Гитлер взглянул на полковника, кивнул в знак того, что знает его, и повернулся к столу. Он был близорук и должен был разглядывать карту через толстую лупу; все бумаги для фюрера печатались на машинке с крупным шрифтом. Хейзингер докладывал общую обстановку на фронтах. Фрейэнд помог изувеченному полковнику встать справа от докладчика, принял у Штауфенберга портфель и поставил его под стол. Штауфенберг передвинул портфель так, чтобы он никому не мешал, — и поближе к себе и Гитлеру. Теперь портфель стоял, прислонённый к правой тумбе, к её наружной стороне, так что между бомбой и Гитлером находился только Хейзингер. Сам Штауфенберг — справа и несколько позади от Хейзингера, с левой стороны от Штауфенберга полковник Брандт, который год тому назад участвовал в неудачной попытке Геннинга фон Треско взорвать самолёт диктатора при помощи мнимого коньяка.

Несколько минут спустя Штауфенберг пробормотал что-то вроде того, что ему надо срочно позвонить по телефону. Хождение во время доклада не возбранялось, никто не обратил внимания на то, что полковник вышел в соседнюю комнату. Фуражка и портупея Штауфенберга остались в углу на стуле в большой комнате, это значило, что он сейчас вернётся.

У аппаратов сидел вахмистр. Штауфенберг снял трубку, поднёс к уху, положил трубку обратно, вышел и быстро зашагал к адъютантскому дому, перед которым ждал кабриолет с Гефтенем. Штауфенберг сёл впереди рядом с шофёром. «Вы забыли фуражку», — сказал шофёр. Штауфенберг отвечал, что он спешит; на часах было 12.40. Машина подъехала к вахте внутреннего оцепления, когда за деревьями взвилось облако дыма и грянул гром.

### *Обратный путь*

Сигнал тревоги ещё не успел поступить на вахту. Очевидно, в суматохе не знали, что делать. У сидящих в машине были безупречные документы. Уверенный вид и величественная

осанка штабного полковника с чёрной повязкой на глазу, с пустым правым рукавом, с Рыцарским крестом на шее произвели своё действие, машину пропустили.

У второго контрольного поста дежурный фельдфебель отказался поднять шлагбаум. Штауфенберг повысил голос, это не помогло. Он вышел из машины и связался по телефону с комендатурой. Ротмистр Меллендорф снял трубку. Очевидно, он тоже ещё не слышал о том, что произошло. Ротмистр знал полковника. Дело уладилось, кабриолет с поднятым верхом понесся дальше по лесной дороге, между озёрами, но шофёр заметил в боковом зеркале, что Гефтен выбросил из окна пакет. Это была вторая, неиспользованная половина заряда.

Миновав на большой скорости уединённое поместье Вильгельмсдорф, миновав третий пост, достигли аэродрома. Шофёр развернулся и поехал обратно. В 13 часов 15 мин. трёхмоторный Хейнкель-111 поднялся в воздух и взял курс на Берлин.

### *Мятеж*

В начале второго — самолёт в Растенбурге только что стартовал — в генеральный штаб, пятиэтажное здание на Бендлерштрассе (ныне улица Штауфенберга, между Тиргартеном и набережной реки Шпрее), где собрались заговорщики, поступило первое известие из Волчьей норы — телефонограмма от Фелльгибеля, краткая и маловразумительная:

«Случилось нечто ужасное, фюрер жив».

Это звучало двусмысленно: ужасно, что хотели убить фюрера, или ужасно, что он не убит? Но главное, оставалось неизвестным, что предпринять. Надо ли что-нибудь предпринимать? Неясно было, что с графом Штауфенбергом. Новых сообщений не поступало. Первым опомнился полковник Альбрехт рыцарь Мерц фон Квирнгейм. Не дожидаясь указаний от своего начальника генерала Ольбрихта, он поднял по тревоге пехотное и танковое училища и отдал приказ по военным округам привести в исполнение 1-ю (подготовительную) ступень плана «Валькирия». Тем временем самолёт со Штауфенбергом и Гефтенем приземлился на берлинском аэродроме Рангсдорф. Аджютант позвонил с аэродрома на Бендлер-штрассе и сообщил, что покушение удалось.

Наконец-то! Ольбрихт распорядился приступить ко 2-й ступени: непосредственное осуществление государственного переворота. Начальники округов, а также дислоцированных вокруг столицы учебных и резервных частей получили следующую депешу:

«Фюрер Адольф Гитлер мёртв!

Клика партийных руководителей за спиной у воюющей армии попыталась использовать власть в своих корыстных целях. Правительство империи, с целью поддержания правопорядка, объявило чрезвычайное положение и передало мне вместе с командованием вермахта исполнительную власть.

Приказываю:

Власть в районах страны, где идут бои, вручается главнокомандующему армией резерва генерал-полковнику Фридриху Фромму, в оккупированных областях... (далее перечислялись имена командующих армейскими группами “Запад”, “Юго-Запад” и “Юго-Восток”, а также командующих войсками на Украине, в Прибалтике, в Дании и Норвегии). Немецкий солдат стоит перед исторической задачей. От его энергии и выдержки зависит спасение Германии.

Подпись: Верховный главнокомандующий вооружёнными силами генерал-фельдмаршал фон Вицлебен».

Никакого «правительства» восставших пока ещё не существовало. Одновременно был разослан приказ занять главные здания радио, телефона и телеграфа, арестовать всех министров, гаулейтеров (партийные заместители, нацистский аналог секретарей обкомов), командиров СС, начальников полиции, гестапо, СД (служба безопасности), обезоружить охрану концентрационных лагерей и так далее. Под приказом стояло имя генерала Фромма, сам Фромм о нём не знал.

*Он прибыл*

Штауфенберга всё ещё не было: машины, заказанной для него и адъютанта, не оказалось на аэродроме. Между тем генералу Ольбрихту удалось связаться по телефону с Волчьей норой. Кейтель подтвердил: да, имело место покушение на фюрера. Но фюрер жив, он отделался лёгкими повреждениями.

В половине четвёртого в здании на Бендлерштрассе, обычно называемом Бендлер-блоком, наконец, появился Штауфенберг. Он взбежал по лестнице, распахнул дверь своего кабинета — там его ждали брат Бертольд Шенк фон Штауфенберг, Фриц-Дитлоф фон дер Шуленбург из окружения Мольтке и ещё несколько человек — и с порога, не здороваясь:

«Он умер. Я видел, как его вынесли».

В присутствии Ольбрихта он подтвердил это Фромму. Тот покачал головой: Кейтель заверил его в противоположном.

«Фельдмаршал Кейтель лжёт, как всегда. Я сам видел, как Гитлера вынесли мёртвым», — сказал Штауфенберг.

Ольбрихт объявил Фромму, что приказ о начале мятежа уже отдан. Фромм, побледнев, спросил, кто отдал приказ. Ольбрихт ответил: «Мой начштаба, полковник Мерц фон Квирнгейм». Фромм велел вызвать Квирнгейма: «Вы арестованы».

«Господин генерал-полковник, — возразил Штауфенберг, — я включил взрыватель во время совещания с Гитлером. Взрыв был как от 15-сантиметровой гранаты. В комнате никого не могло остаться в живых!»

«Граф Штауфенберг, покушение провалилось. Вы должны немедленно застрелиться», — сказал Фромм.

«Я этого не сделаю».

Ольбрихт напомнил Фромму, что пора действовать. Промедление грозит гибелью отечеству.

«Значит, и вы, Ольбрихт, участвуете в путче?»

Ольбрихт отвечал, что он лишь представляет тех, кто берёт на себя руководство Германией.

«В таком случае я объявляю вас всех троих арестованными!»

«Ошибаетесь. Это мы вас отправляем под арест».

Фромм замахнулся на Ольбрихта, тут появились Клейст и Гефтен. Под дулами пистолетов генерал был препровождён в соседнее помещение. Его пост должен был занять генерал-полковник Эрих Гепнер уволенный в своё время из вооружённых сил за то, что отдал приказ об отступлении под Москвой.

Людвиг Бек, который должен был стать будущим главой государства, — о Беке говорилось в начале этой статьи, — явившись в Бендлер-блок, сказал, обращаясь к заговорщикам (эти слова сохранил очевидец):

«Господа, мы на развилке истории. Положение на всех фронтах безнадежно. Долг всех мужчин, всех, кто любит эту страну, — из последних сил добиться нашей цели. Не получится, — ну что ж, мы, по крайней мере, не будем мучиться сознанием нашей вины. Для меня этот человек всё равно мёртв. Доказательства, что он не убит, не подменён двойником, могут придти из ставки только через несколько часов. До этого мы успеем взять в свои руки власть в Берлине».

### *Фанера, стекловата*

Что произошло в Волчьей норе?

Массивный стол был расщеплён и обрушился, стулья поломаны, на месте, где стоял портфель Штауфенберга, в полу зияла широкая дыра. Стёкла всех пяти окон вместе с рамами вышибло взрывной волной. Почти все, кто находился в бараке, оказались сбиты с ног, но никто не был выброшен наружу. Четверо человек были тяжело ранены и скончались на месте или в тот же день. Остальные получили лёгкие ранения, вполне невредимым остался только шеф верховного командования Кейтель. Среди хлопьев полуобгорелой бумаги и стекловаты, обломков мебели, осколков стекла сидел Гитлер. Его брюки и кальсоны были порваны в клочья, на левом локте небольшой кровоподтёк, на тыльной стороне ладони несколько ссадин. Лопнули обе барабанные перепонки, но слух не пострадал. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал... Кругом измена!»

Спрашивается, почему он уцелел. Несколько обстоятельств могут это объяснить. Во-первых, удалось использовать только половину приготовленной взрывчатки. Во-вторых, портфель был оставлен с наружной стороны тумбы. В-третьих, и это главное, стены барака были из слишком лёгкого материала, что ослабило взрывную волну; если бы совещание проводилось в бункере (на что надеялся Штауфенберг), не уцелел бы никто.

Только спустя два часа подозрение пало на однорукого полковника. Вахмистр Адам доложил, что видел, как полковник без фуражки и без своего портфеля поспешно покинул барак. Шофёр, доставивший Штауфенберга и адъютанта Гефтена на аэродром, сообщил, что из окна машины выбросили какой-то предмет. Ввиду особой важности его показания шофёр был препровождён к «секретарю фюрера» и начальнику партийной канцелярии Борману. Спецподразделение службы безопасности разыскало пакет. Но далеко не сразу гестапо сообразило, что дело идёт не об одиночном покушении и даже не о попытке путча узкого круга высших офицеров, а о разветвлённом заговоре.

### *Судороги мятежа*

К шести часам вечера в Берлине караульный батальон «Великогермания» оцепил правительственный квартал, полковник Ремер, командир батальона, собирался арестовать Геббельса. Министр пропаганды, занимавший одновременно посты гаулейтера Берлина и рейхскомиссара обороны, находился у себя на квартире на Герман-Геринг-штрассе. Геббельс выглянул в окно, увидел фургон с солдатами и по телефону поднял по тревоге лейб-штандарт СС «Адольф Гитлер». Кроме того, Геббельс связался с Волчьей норой и говорил с фюрером. Но до открытого столкновения с караульным батальоном не дошло. Ремер сумел повернуть дело так, что он хотел-де защитить правительство от мятежников.

Один за другим в Бендлер-блок прибыли представители разных групп сопротивления, среди них Герстенмайер от Крейсауского кружка, Отто Йон и Ганс-Бернд Гизевиус из контрразведки. Бек был в штатском. Вицлебена представлял граф Шверин. Затем явился и сам Эрвин фон Вицлебен, в парадной форме, при орденах, с фельдмаршалским жезлом. Реальными действующими лицами оставались, однако, офицеры средних рангов — прежде всего тот, кто уверял, что Гитлер погиб.

Он не отходил от телефона. Йон слышал, как он звонил в разные концы. «У телефона Штауфенберг... Приказ командующего резервной армией... Вы должны занять все пункты

связи... да, всякое сопротивление должно быть сломлено... Приказы из главной ставки фюрера недействительны. Вермахт взял на себя всю исполнительную власть. Вицлебен назначен верховным главнокомандующим, совершенно верно... Государство в опасности... Немедленно приступить к...»

В Париже генерал Штюльпнагель приступил к действиям весьма успешно. Известие о государственном перевороте пришло в отель «Мажестик», резиденцию командующего оккупационными силами, в 16 часов. По приказу командующего руководители парижских СС и СД, а также чины гестапо в полном составе были арестованы; вооружённые отряды остались сидеть в казармах. Но в 20 часов Штюльпнагель был вызван к фельдмаршалу Клуте, который сообщил, что, по только что полученным сведениям, покушение на фюрера не увенчалось успехом.

На другой день Штюльпнагель получил приказ из Берлина срочно прибыть «для доклада». Он ехал в машине с двумя унтер-офицерами. В долине Мааса, недалеко от Вердена, генерал вышел из автомобиля, велел сопровождавшим ехать вперёд, после чего выстрелил себе в голову. Он был доставлен в ближайший госпиталь, остался в живых, но ослеп.

## *Полночь*

Поздно вечером 20 июля на Бендлер-штрассе генерал-полковник Фромм, выпущенный из-под стражи офицерами из штаба Ольбрихта, арестовал руководителей путча: Бека, Ольбрихта, Гепнера, Мерца фон Квирнгейма и Штауфенберга вместе с адъютантом Гефтенном. Вицлебен успел покинуть здание.

Бек попросил разрешения воспользоваться оружием, как он выразился, «для личной надобности» и, приставив пистолет к виску, выстрелил, пошатнулся, опираясь на Штауфенберга, выстрелил ещё раз, но всё ещё был жив. Клаус Штауфенберг не мог придти в себя от гнева. Глядя на Фромма, стоявшего в дверях, он коротко заявил, что берёт всю ответственность на себя: остальные лишь выполняли его приказы. Фромм велел адъютанту вызвать расстрельную команду из десяти человек. Арестованных вывели во двор, где стояло несколько штабных машин. Шоферам было приказано включить фары.

Первым упал Ольбрихт. Следующим был Штауфенберг, он успел крикнуть: «Да здравствует святая Германия!». Хефтен бросился к нему, был сражён залпом, предназначенным для Штауфенберга, следующий залп настиг самого Штауфенберга. Бек, смертельно раненный при попытке покончить с собой, был добит. Затем расстреляли Квирнгейма.

Фромм, стоя на сиденье открытой машины, произнёс речь перед солдатами, трижды рывкнул: «Хайль Гитлер!» и поехал к Геббельсу.

### *Эпилог*

Так закончилась эта история. На другой день после покушения Гитлер выступил по радио. «Фюрер полон решимости искоренить всю эту генеральскую клику...» — записал в своём дневнике доктор Геббельс. Не сразу, однако, гестапо сумело докопаться, что заговор представляли не только военные. По иронии судьбы именно тайная полиция положила начало изучению истории Двадцатого июля; ныне это актуальная глава историографии нашего века, тема университетских курсов, предмет многочисленных исследований.

Кроме тех, кто был расстрелян во дворе, в тот же вечер в Бендлер-блоке были схвачены Гепнер, Йорк фон Вартенбург, Фриц-Дитлоф Шуленбург, Герстенмайер и ещё несколько штатских лиц. Из них пережил конец войны только Эйген Герстенмайер, впоследствии один из основателей партии Христианско-демократический союз. Был казнён заодно с Шуленбургом и его дядя, бывший посол рейха в Москве; арестован и расстрелян брат Клауса Штауфенберга Бертольд.

В разное время многочисленные участники заговора предстали перед так называемым народным судом в Берлине под председательством небезызвестного Роланда Фрейслера, которого Гитлер называл «нашим Вышинским». В конце войны этот Фрейслер погиб в подвале суда во время бомбёжки.

В Плецензее, на территории нацистского исправительного дома, где сейчас находится Мемориал героев сопротивления, были повешены 8 августа 1944 г. первые восемь осуждённых,

в их числе Вицлебен, Йорк, Гепнер. Казнь снималась на киноплёнку для Гитлера. Все вели себя мужественно. В последующие месяцы были повешены Мольтке, Гефтен, Тротт цу Зольц, Лебер, Дельп, Гассель, Попиц и другие.

Слепого и изуродованного Штюльпнагеля палач вёл под руку к виселице.

Треско застрелился в Белостоке на следующий день после покушения.

Герделера разыскали и казнили весной следующего года.

Канарис и Остер были расстреляны в концлагере Флоссенбург в Баварии. Там же и в один день с ними, незадолго до прихода американцев, был убит близкий к кругу Мольтке известный протестантский теолог Дитрих Бонгеффер.

Шлабрендорф был подвергнут пыткам, но остался жив.

Фельдмаршал Роммель, знавший о заговоре, был вылечен, после чего ему предъявили ультиматум: судебный процесс или самоубийство. Он предпочёл принять яд.

Фромм, расстрелявший Штауфенберга и других, был в свою очередь расстрелян в марте 1945 г.

Всего из 600–700 арестованных было казнено не менее 180 человек. Последняя расправа произошла над тремя участниками заговора в берлинской тюрьме на Лертерштрассе в ночь на 24 апреля 1945 года, за две недели до конца войны.

**КСЕНИЯ**



## Ночь с субботы на воскресенье

Думаю, что мне всё-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечатаала и разслала приглашения. В программе Шуман, трёхчастная фантазия C-Dur, op. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Ce n'est pas rien*<sup>1</sup>.

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес — собственно, это уже окраина посёлка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провёл семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, чёрная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своём чёрном платье с кружевами и воланами, бледно-лиловая причёска, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

---

<sup>1</sup> Это кое-что значит (*фр.*)

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл всё от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет — не просто боязнь потерять благосклонность публики.

Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое, что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого несколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переворачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы ещё раз прорепетировали всю вещь, я знал её назубок, но сейчас мне придётся по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжёлым чувством я остаиваюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ёрзаю, подкручиваю винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король стоял с флейтой, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали *mots*, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахиваются клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

## Продолжение. 3 часа ночи

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А всё-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после Kopfsatz<sup>1</sup>. Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда всё кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл ещё два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда было лето в разгаре, июль... Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dug-ную фантазию. Кто играл, теперь уже не вспомнить...

На столе коньяк, радиоприёмник, в банке из-под галет алая Лизхен с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпиграф, — сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, кто ему внимает», — подсказал я.

Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с бреющего полёта.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Всё как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

---

<sup>1</sup> Первой части.

## 11 часов вечера, воскресенье

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свериться. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг принялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в колленкоровых переплётках не лишена исторической ценности. Я храню её в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдётся издатель, — только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год: двадцать четвёртого июля (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша цель — мост у Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, ещё каких-то злаков, подождённых отступающим противником, мы оставили за собой. Местность становится всё более плоской, время от времени её пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из ржи, совсем близко, бой перепела — высокий металлический звук, слегка приглушённый, как будто карлик под землёй постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полёвок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем её настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает — снабжение отстаёт от стремительно наступающих войск, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днём монотонный лязг гусениц, гранадёры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, подставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледно-лиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Ещё пятьдесят, ещё тридцать, двадцать километров, — мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже всё было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихожей. Франциска, успевшая сбросить своё прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал её в комнатке рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению ещё одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, увы, — скомпрометированное понятие. Ветер истории, который некогда овеивал нас, который и сегодня веет со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, что он значит теперь?.. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной, спит и видит сны — о чём? О том, что он когда-нибудь проснётся и потрёт глаза?..

Er hat hinabgenommen  
Des Reiches Herrlichkeit  
Und wird einst wiederkommen  
Mit ihr, zu seiner Zeit<sup>1</sup>.

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn<sup>2</sup> с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею основания полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займёт место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моём роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить её детей. Старший, адвокат, — ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, — присоединил бы к своему баронскому имени моё, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется

---

<sup>1</sup> Величие своего царства унёс он туда с собой, но дайте срок — он вернётся, и с ним вернётся блеск его державы. (Из баллады Фр. Рюккерта «Барбаросса».)

<sup>2</sup> Сосуд для питья в форме рога.

мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожалала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем всё известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе. С Франциской мы учились в Салеме, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше). Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаём встречаться, перестаём звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншпиль» на углу Розенталь и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», — а какие, собственно, вопросы?

### *С воскресенья на понедельник*

«Устала, сил нет, — сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта). — Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

«Знаешь, — проговорил я, — мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чём я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе... — сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. — Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале “Геркулес”?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

Нет, сказал я, это было в июле, память у меня, слава Богу, всё ещё...

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведёт моё жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

### *Вечером в понедельник*

Распорядок дня безнадежно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днём меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощущаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц<sup>1</sup> считал спанье привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырёх часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Итак, мы рвёмся вперёд. Мы движемся мимо чёрных пятен выгоревших знаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас зловещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь — как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, утробное потрескивание — степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в кото-

---

<sup>1</sup> Фридрих II Прусский.

ром я стою рядом с лейтенантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены погоны. Шофёр даёт газ, мы несёмся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов. XIV корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдём с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы — излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, — Сталинград...

### *Ночь с понедельника на вторник, 2 часа*

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лóбковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвёл глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы — давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платице с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола — это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных

рамках. Щёголь в пышных усах, в канотье — отец Франциски. Гувернантка: круглая причёска, похожая на птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, от чего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую тёмную юбку мадемуазель, — Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели — это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салемской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, *Marinehelfer*<sup>1</sup>. Пропал без вести в самом начале войны. Офицер с Железным крестом — фрейгер<sup>2</sup> фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

Я спросил — почему-то он мне вспомнился, — кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

«М-м?» — отозвалась она. О чём-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересует?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, — скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолётное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нём, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздражённый тем, что звонят так поздно.

Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут... — я не мог разобрать его имени. — Извините...»

«Что вам угодно?»

«Я здесь проездом», — сказал он.

---

<sup>1</sup> Юнга (нем.)

<sup>2</sup> Барон.

«Na und?»<sup>1</sup>

«Я был на вашем вечере».

Голос с американским акцентом — Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...» — сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнёс её спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я вас слушаю», — сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншпиль».

### *Поздно вечером, вторник*

С утра мягкая, расслабляющая погода, фён; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далёкую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинувшись этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронёсся по автострадам мимо Оттобрунна, мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между виллами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути между перелесками, спящими вечным сном хуторами, деревнями с непременно церковкой почти кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом ещё в моём детстве. Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нём разместились благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окружённому кустарником, отго-

---

<sup>1</sup> Ну и что? (нем.)

роженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почётном месте покрытая плесенью, со стёршейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обергофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нём, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некоей даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он называл её Беттлиз<sup>1</sup>. Любимец муз просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, до тех пор, пока ландграф не отправился к праотцам, и ему носили еду из дворцовой кухни.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с прапраправнуком ландграфа Филиппа. «Я, — сказал он, — хочу сделать то, что вовремя не было сделано». — «Und das wäre?»<sup>2</sup> — «Вызвать тебя на дуэль!» — «Я готов к услугам», — ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдоты, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, сами того не замечая, разговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что ещё сказать о моём дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тёзки<sup>3</sup>. Король не любил военную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

---

<sup>1</sup> Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

<sup>2</sup> А именно?

<sup>3</sup> То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.

Два одинаковых, невысоких каменных креста — два моих двоюродных деда, погибших в первую Мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница — моя бабка, померанская княжна: взбалмошная особа, сумевшая восстановить против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потёмках письменным столом — с выдвинутым нижним ящиком — были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетётся мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, — чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

### *Около полуночи*

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в

Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса — три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Дону — две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле — Острогожск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi»<sup>1</sup>. И всё-таки... всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль *petites madeleines*<sup>2</sup> сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимо-

---

<sup>1</sup> Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; *фр.*)

<sup>2</sup> Бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».

стью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определённо представлялось закрытой главой жизни, — подобно тому, как сдают в архив судебное дело, — приходится поднимать сызнова, как говорят юристы, «в виду вновь открывшихся обстоятельств».

## *Среда*

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по-старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци — моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци — типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели — отлично помню — в полуосвещённой гос-

тиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было полночь. Больной спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, — сказала она. — Мы оба должны понять... Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», — возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же ублюдков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, — сказала она, — не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, — сказал я. — Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» — сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté<sup>1</sup>. Посидим ещё немножко».

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канапе и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, — проговорила она, садясь рядом со мной. — Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

«Куда?» — спросил я.

«Куда-нибудь далеко. — Она встала. — Но имей в виду...»

---

<sup>1</sup> Так решено? Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена (фр.).

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отжились друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе — я чуть не сказал, в позировании — было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила замной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильнее её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.

### *Третий час ночи с четверга на пятницу*

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было собраться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn<sup>1</sup>. Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я

---

<sup>1</sup> Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.

пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помня взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свиданье; как вдруг сзади раздался его голос с англосаксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», — по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку, и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, — сказал он. — А что вы играли?»

Вздохнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!

Он пробормотал:

«Германия — очень музыкальная страна».

«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», — сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

### *Пятница, после полуночи*

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду — другое.

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или — что кажется мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, от-

того, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнёмёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому — говорю это с полным основанием — плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике — краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, — мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округа, сожжены деревни, заколоты шттыками грудные дети... А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика — не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных

слухах, которые всё больше распространялись — и в конце концов подтвердились! — о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?

Июль сорок второго года. Острогожск... Теперь я отчётливо помню, когда и как всё это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, коньяк отрезвляет — но лишь первые два глотка. Четвёртый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперёд, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу всё перед собой.

### *Ночь, продолжение*

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведёт допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, — говорит майор, — так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», — сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчёт...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чём спрашивает Оланд (так зовут майора), ему и так известно, надо лишь удостовериться.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами:

«Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щёлкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполовину опорожнённую. Наливает полстакана: пей.

Парень берёт стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, на мой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Выгирает рот тыльной, тёмной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплёскивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повёл. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, — говорит он, — вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блёкло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит всё быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик — балтийский немец, худой, измождённый человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...» — говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, — ну-ка, повтори, говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, чёрт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша шившая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, вот увиди-

те, мы вам ещё покажем, вы ещё не знаете, что вас ждёт, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный всё ещё что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я всё-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, — ждёт моего кивка. Я тоже вне себя. Ну, раз пошёл такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчика выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

### *Седьмой час, перед рассветом*

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведётся ответный огонь», — а это был ни много ни мало, как стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», — ребёнку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на историю. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим). С другой стороны, на всякий ответ не может повлиять знание о том, чем всё это кончилось. Миллионы убитых, причём не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что ещё ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий — уничтожить на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы всё ещё в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времён. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага — большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет ещё раньше, чем мы завоюем страну. После чего мы справимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что́ я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжёлый смрад обгорелых печных труб — всё, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками орудийного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемёта. Кажется, в то время ещё не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство общей судьбы — у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб чёрного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой — ночные

бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы — азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но всё ещё тепло... Войска группы А — у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взяли Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди — необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта.

А мы — группа Б — тем временем с боями овладеваем Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений — к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла всё возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, — Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трёх сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и тогда. Октябрь, 27-е: в парной бане; русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов. Мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвы-

ходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

В чём дело? Нам казалось — ещё двести, ещё сто метров, и мы прорвёмся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию, и — дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и в конце концов дрались на своей земле, защищали своё отечество. И всё же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моём дневнике — от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошёлся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл томительно-волшебную, поистине утешающую горечь Арабеску Шумана. Пора ложиться...

### *17 час., пятница*

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лобковиц. Забыл записать: ещё третьего дня я нашёл в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моём концерте. Она была ещё достаточно бодра. Ей было под 90. Сухонькая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли ещё кто-нибудь, что её предку, князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далёкой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,  
Der zu dir so glühend eilt,  
Und die Seufzer, sie verwehen  
In dem Raume, der uns teilt<sup>1</sup>.

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчётливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

«Знаете ли вы, — сказал я американцу, когда всё было кончено, толпа провожавших, все в чёрном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, — знаете ли вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагеля?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, — сказал я. — Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, всё чёрное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолёта отправился в машине, с ним вместе его Bursche<sup>2</sup>, секретарша уговорила шефа взять и её с собой.

«Эта старушка?» — спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У неё были дети?»

«Нет. У неё никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

---

<sup>1</sup> Тебя не достигнет мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас.

<sup>2</sup> Денщик.

«А она?»

«У неё были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?»

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

## 23 часа

Нет сна. Я почти не спал накануне, и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящён, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня трусом. Но одно дело стоять под огнём врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое — подвалы гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенки в Плецензее, где и сейчас ещё висят крюки на потолке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречён на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, насколько я знаю, — может быть, и сам полковник Штауфенберг, — отнюдь не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что ещё можно было спасти, — мы, выходит, лишились чести? Понимал ли я, если не в сорок третьем, то хотя бы в сорок четвёртом году, что единственный выход — убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О, да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепарат-

ный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И всё-таки! Я думаю об одном и том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для неё, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всём.

### *Второй час ночи с пятницы на субботу.*

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повёл его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось — стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это всё случилось? Меня интересовало всё, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, всё или почти всё, что он мог рассказать, ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезён советской политической полицией, так называемыми «органами», сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, — значит, всё-таки наводил справки? Да, но «как-то всё не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел — неизвестно; мне было ясно, что он сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы

перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует всё пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольд-штрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень всё ещё свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рождённые украинкой, считались расово полноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще всё смешалось, кто украинец, кто русский, не разберёшь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, — спросил я, — войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу. А когда немцы ушли из города — откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», — пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, — сказал я. — Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, но другого выхода не было».

«А её родители?»

«Они остались».

«Вы... то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»

«Пожалуйста», — он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже, конечно. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была ещё жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

### *Суббота, 18 час.*

Мне пришлось остановиться — не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повеваает; зябко, неудобно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Витгих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе был набор, уже не первый, желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаёшь светлое будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребёнком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что её вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфоразработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же — он это сразу почувствовал — интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, чтобы он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, — не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Никаких сомнений тут быть не может: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине всё что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился — уж это-то, по крайней мере, известно наверняка — в марте 1943 года. Не позднее чем в августе германская армия покинула этот район (Харьков был окончательно сдан 28-го). Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугода. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «бóставка». Оказывается, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, — сказал он, — где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Даже якобы не знали, что там работали эти самые бóставки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя отправили в приют?»

Он пожал плечами. «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы всё ещё сидели в Английском саду.

«Ты не договорил», — сказал я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя я сам заговорил.

«Вэл, — сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искажённую.) — Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход — круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Моё имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своём роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Странный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце — согласился бы я, оказался я на его месте?

«Вы правильно выразились, — сказал он. — Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Сын женщины, которую вы бросили на произвол судьбы».

Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военнослужащие имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увёз бы её в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он ответил, что в конце концов установил, кто была хозяйка фермы. Её звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У неё был муж-инвалид, он был освобождён от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну, и...» — он пожал плечами.

«Что? что?» — спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Ещё минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать, сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на моё искажённое злобой лицо и спросил:

«Кто, по-вашему, во всём этом виноват?»

### *Час ночи. Два часа ночи*

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности — то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН<sup>1</sup>. Я был вывезен в рейх на самолёте. Желтуха спасла меня. Вряд ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трёхсот тысяч осталось в живых 90 тысяч. Почти все они погибли в плену.

### *Воскресный вечер*

Затёртая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замёрзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить всё по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи — как много в них, однако, пищи для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наступающих войск

---

<sup>1</sup> Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).

была разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб. Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; под вечер, проехав ещё метров двести по Школьной улице (повидимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнатку. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пёстрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинным деревянным столом, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гирями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит огромной чёрной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Ещё одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьём не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в первую Мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

## *Ночь, продолжение*

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видеоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал её в тот первый и, может быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — всё решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстёгнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почётное место. Солнце било сквозь цветы из трёх окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

### *3 часа*

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией, в первую зиму русского похода. С тем самым, злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как вождь пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеёмся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Ах, мне поистине повезло, после зимней кампании 41 года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, моё происхождение, громкое имя и титул способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своём окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и ка-

жется лёгкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как разум подсказывает достойный ответ. На всё остальное наплевать. Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинён и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере, чтобы двинуться с войском на Восток... Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте, чтобы мы шли и шли всё дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и оберлейтенант W. озаботился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Всё это нужно было — для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

### *Перед рассветом*

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето остановилось, земля замедлила свой бег, день за днём солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Всё было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой всё стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — всё отошло, всё это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с ним я

понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподаётся немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались только женщины, не работали. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу — разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. По-видимому, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта иконка в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, — но теперь разговор шёл уже по-немецки, — в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точёными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы гово-

рили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идёт; и она знала. Тем более, что не сегодня — завтра мне предстояло покинуть городок. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение — иначе не могу это назвать — сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если, наконец, это наступит. Я чувствовал, что она ждёт этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен буду целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был тёплый вечер. Солнце садилось на западе в бледнолиловом мареве, которое, возможно, было далёкой пеленой туч. На западе, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о дружбе народов. Но ведь война — это тоже в своём роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но её предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем всё изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был тёплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в лёгком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошлась взад-вперёд, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы я отошёл в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я

уже знал, что она хочет искупаться. С определённой целью, с намерением, которое было вполне понятно ей самой и которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское бельё. Она шла, подняв руки, в воду, я успел увидеть её узкую талию и начало ягодиц. Приблизившись, я обнял её сзади.

«Ксюша...» — сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристёгиваюсь. Зажигаются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Ещё темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который всё ещё жив, всё ещё не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперёд струи света, привычно шевеля рулём, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на просёлочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес всё гуще, слух, как ватой, заглушён тишиной, тяжёлый дорожный автомобиль трясётся по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Чёрные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удаётся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Присев на колено, он растапливает печурку.

Он ждёт. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — не более, чем дурной сон. Нагромож-

дение противоречий. Иначе и быть могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Растер и её мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, — весь этот бред — есть именно бред и ничего больше, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждёт, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Её шаги.

# **ИВА́НОВ И ПОЖАРСКИЙ**

**(К северу от будущего)**

In den Flüssen nördlich der Zukunft  
werf ich das Netz aus, das du  
zögernd beschwerst mit von Steinen  
geschriebenen Schatten.

*Paul Celan*

---

<sup>1</sup> На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни. *Пауль Целан.*

## ВРЕМЯ И Т.Д.

Поздно вечером 30 января 1945 года с командного мостика подводной лодки «С-13» были замечены огни пассажирского судна. Пароход «Вильгельм Густлофф», шедший с десятью тысячами беженцев из отрезанной Восточной Пруссии, шестипалубный, длиной несколько больше двухсот метров и водоизмещением 25 тысяч тонн, до войны принадлежал национал-социалистической организации «Сила через радость», потом был переоборудован под плавучий госпиталь, а позднее использован как транспортный корабль. П посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из освобождённой от льда акватории порта; в открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан приказал не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Погоня продолжалась тридцать минут. Пароход был потоплен тремя торпедами. Утонуло 8800 человек, что представляло собой своеобразный рекорд. Недостатком субмарин класса «С-13» было слишком продолжительное время погружения. Уходящую лодку настигли глубинные бомбы эскадренного миноносца «Лев». Лодка опустилась на дно, где уже лежал «Густлофф». Немецкие спасательные суда смогли увезти 900 человек. Перед рассветом патрульный катер VP 1703 обнаружил на месте гибели, среди плавающих трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.

Вахтенный офицер Юрий Иванов не помнил, как был выловлен из ледяной воды. Он был доставлен в порт Эльбинг, куда только что вступили наши передовые части, на-

скоро оперирован и отправлен в глубокий тыл в одном из переполненных санитарных эшелонов, которые шли друг за другом из Пруссии и Прибалтики. Ему было 22 года. Конкурс не был препятствием для него как для участника Отечественной войны, не говоря о том, что на десять девушек, подавших заявление, приходился один мужчина. Когда девица в треугольной причёске с коком над круглым лобиком, в платье в крупных розовых цветах из крепдешина, с глубоким вырезом и квадратными накладными плечами, гордая своими общественными полномочиями, вышла со списком, чтобы выкликнуть его фамилию, у дверей топтался ещё один представитель дефицитного пола — юнец в курточке и коротковатых брючках, очевидно, медалист. Это было собеседование с поступающими без экзаменов. Иванов (с ударением на втором слоге, чему он придавал особое значение; все, однако, говорили: Иванóв) вошёл в аудиторию, где сидела приёмная комиссия: парторг факультета, женщина, заполнявшая бумаги, и старец в полотняном пиджачке и академической шапочке. Иванов шагал, опираясь на палку, переставляя искусственную ногу, глядя прямо перед собой, бледный, огненно-рыжий, казавшийся старше своих лет, в пенсне — кто тогда носил пенсне? — и с планкой орденов на тёмносинем в полоску пиджаке, который стоял на нём несколько колóm, подошёл к столу и сел, словно ударился о стул. Ему был задан школьный вопрос; старец в ермолке мягко осведомился, что побудило его выбрать филологический факультет. Собеседование было закончено, неделей позже, в последних числах августа, он увидел своё имя на доске в списке принятых.

Удивительно, сколько событий уместилось в какие-нибудь шесть или семь месяцев. Кто не помнит этот год? Или, лучше сказать, кто его ещё помнит. То, что называют историей, вновь, как в древности, стало жанром литературы и усвоило все её сомнительные черты. Время, о котором идёт речь, — время не то чтобы баснословное, но такое, о котором не так-то просто вести рассказ. Парадокс недавней истории в том, что она куда менее надёжна, чем история далёкого про-

шлого. Даже то счастливое обстоятельство, что ты был её очевидцем, не спасает дела. Угли ещё тлеют под золой. Ты помнишь всё. И, однако, невозможно избавиться от чувства, что главное и существенное от тебя ускользает. Глядя на фотографии и документы, убеждаешься, что они лгут. Но ведь в этом и состоит их своеобразная достоверность, ибо таков их способ говорить правду. Это было время, когда вино победы кружило голову всем. Армия, словно изувеченный богатырь, с расколотым щитом, с головой в запекшейся крови, волоча за собой ногу, настигла уползающего дракона в его убежище и едва не испустила дух вместе с ним. Ещё не существовало телевидения — одно из немногих преимуществ этого времени. Зрители видели в кинотеатрах хронику подвигов и завоеваний, видели документальный фильм о параде победы, блестящую от дождя брусчатку Красной площади, маршала в орденах на белом коне и Вождя на трибуне, слышали гром оркестров и крики команд. Никому не приходило в голову, что это — победа, от которой никогда уже не удастся оправиться.

Как обломки корабля, вещи и детские игрушки на поверхности взбудораженных вод, дошли до нас реликвии этой эпохи. Маячит память о молодых людях, о тех, кто едва успел перешагнуть из детства в юность, кто ничего не достиг. Одинокие, они радовались, как несмышлёныши, залпам салютов и фейерверкам, были счастливы, что остались в живых, что война не успела до них добраться, сделать их обрубками, обжечь и обезобразить лицо. И лишь много позже догадались, в чём не могло признаться себе поколение отцов: что разгром и опустошение были расплатой за этот триумф, опустошение и разгром, каких не знали за тысячу лет. Ибо история одурачивает всех.

Победителей не судят. Победитель сам себя судит.

## **ТАНЕЦ. ИРИНА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ: МИР**

На всех трёх этажах Нового здания, сооружённого после пожара 1812 года, — с тех пор оно так и называлось, Новое, — гремела музыка, оркестранты дули в трубы, сидя над

парадной лестницей у балюстрады, между двумя циклопическими гипсовыми кумирами, еще один оркестр помещался наверху, под стеклянной крышей, и повсюду, на галереях и в коридорах, топтались, раскачивались, крутились, задевая друг друга, пары, девушка с девушкой, вея пёстрыми шёлковыми платьями вокруг бёдер; явившиеся откуда-то полуподростки нестуденческого вида, кучкой, руки в карманах, «Беломор» в зубах, не решались разбить девичьи пары; кое-кто, впрочем, осмелев, развязно приближался к танцующим, хрипло выдавливал из себя: «Разрешите?..» и со стыдом, не удостоившись ответа, удалялся; морячок в подпрыгивающей пелерине изумлял широченными клёшами, рассекал нагретый воздух, облапив крошечную партнёршу; треск барабана, гром тарелок и криканье генерал-баса, шорох девичьих ног в полуботинках на толстой подошве, называемых танкетками, — истинно военная метафора! — аромат дешёвых духов, пота, обещания, — краковяк, фокстрот, падеспань, венгерка — всё смешалось, все танцовалось на один манер, словно все объяснялись друг другу в любви на едином стандартном и общеобязательном наречии.

Прислонившись к колонне, выкрашенной под мрамор, в позе денди, в своём всё ещё новом костюме в полоску, в пенсне и при галстукке, студент первого курса Юрий Иванов цедил слова, глядя поверх толпы, из-за воя труб ничего не было слышно. Собеседница скучала, поглядывала по сторонам; этикет запрещал ей самой приглашать кавалера. Может ли он вообще? Наконец, она решилась. «Потанцуем?..» — спросила она уныло и тотчас раскаялась: в глазах Иванова мелькнула растерянность, он мужественно задрал подбородок, сверкнул стёклышками пенсне. Труба уже повела свой томительно-счастливый рассказ. Иванов стоял, слегка расставив ноги в прямых широких брюках, палка повисла в его руке. Она хотела взять у него палку. Он переложил палку в левую руку. Из медных жёрл выплёскивалась грубая радость оставшихся в живых. Музыка заглушала голоса, и это было благословением, не надо было разговаривать, ненужные, вымученные реплики заменил диалог движений, шаг вперед, шаг

назад, пароль и отзыв, переключки тел. Вокруг всё качалось и колыхалось. Они выбрались из сутолоки в уголок, где было свободней. Роли переменялись. Девушка почувствовала себя рулевым, он охотно принял обязанности матроса, танец раскачивал их, словно на палубе, оба прониклись серьёзностью, оба почувствовали облегчение, как актёры, которые поняли, чего хочет от них режиссёр; роли давали возможность найти своё место в сложном спектакле бала. «Вот так», — сказала она и показала, как правильно взять партнёршу за талию; он послушно обхватил её левой рукой, не выпуская палку, стараясь держаться на некотором расстоянии от её живота и груди. Она положила руку ему на плечо. Загнутая рукоятка трости слегка давила её между лопатками. Держа в правой ладони его ладонь, она решительно правила; оба смотрели вниз, она на его ноги, он на спускающиеся к плечам, тщательно расчёсанные тёмнозолотистые волосы. Иванов переставлял ногу, стараясь приноровиться к шажкам партнёрши; так они протанцовали, вернее, прошагали под музыку несколько метров туда и сюда, меняя направление, как меняют галс корабля. Видимо, кавалеру было труднее двигаться задом наперёд, и она стала вести его на себя, что в общем-то отвечало правилам танца; и он заметил, что, не отказываясь от обязанностей водительницы, она осторожно и, может быть, бессознательно навязывает ему другую роль, предписанную ритуалом, роль атакующей стороны. Теперь танец сам вел их. Сама собой его здоровая нога, таща другую ногу, поспешила за отбегающей партнёршей, так что оба чуть было не потеряли равновесие, но в последний момент Ира, Ирина, — так её звали, это открылось как-то само собой, — развернула резким, почти насильственным движением его и себя, и нога мужчины оказалась между её ногами; её пах под текучей одеждой скользнул под его бедром; оба остановились. Тяжело дыша, она отбежала к балюстраде. Иванов захромал следом за ней.

Народ спускался густой толпой по широкой лестнице, померкли матовые висячие шары, музыканты укладывали в футляры свои инструменты, тромбонист, держа в руках поло-

винки тромбона, вытряхивал, словно застрявшие ноты, капельки слюны, над аркой входа, внизу, стрелки на светлом диске сходились, как бы подводя итог, и гипсовые вожжи над лестницей провожали праздник с высоты своих пьедесталов. Из толпы, осадившей гардероб, молодежь бросала на Иванова и его даму взгляды, в которых зависть смешивалась с сожалением. Девушки смотрели на человека в ярко-рыжей шевелюре, в стёклышках пенсне, с негнущейся ногой, который держал, расставив руки, лёгкое, должно быть, тряпичное, женское пальто. Его собственное пальто, перешитое из морской шинели, висело у него на локте. Им казалось, что она слишком уж медленно завязывает косынку на шее, насаживает на голову самодельную шляпку; им казалось, что всё это делается напоказ.

Девушки испытывали облегчение в толпе себе подобных, здесь не надо было вести себя по-особенному. Как если бы они всё ещё были в женской школе, вдали от наглых мальчишек; или сидели в зрительном зале, следя на экране за той, что была не лучше их, но у которой был какой ни есть кавалер; которая должна была кого-то изображать, перед кем-то позировать; и почти со злорадством они следили, как она неловко просовывает руки в рукава пальто.

Что же касается их собственных, малочисленных спутников, то они, эти хилые недоросли, спешащие повзрослеть, понимали, что их только терпят, за неимением лучшего. Да и танцевать они толком не умели, между тем как девушки словно владели этим искусством от рождения. Мальчики чувствовали себя брошенными на произвол судьбы посреди вертлявых, щебечущих существ в лёгких цветастых платьях, изнемогали от робости, страха и вожделения; хорошо вам, думал Марик Пожарский, тот самый юнец в курточке, который стоял в день собеседования у дверей приёмной комиссии, — вас много! И в самом деле, никогда ещё так близко не толкалось, не поворачивалось своими выпуклостями, источая запахи волос и духов, такое изобилие женского тела. Но стоило ему обратить взгляд на инвалида, стоявшего там, с палкой и пальто, как его осенила догадка: он вспомнил, что

он здоров, молод и, кажется, не так уж уродлив, и ощутил себя владельцем лотерейного билета, который наверняка выиграет. Это было чувство счастливого ожидания и нерастраченного запаса — едва успевшего начаться бессмертия.

Тусклые лампочки подъезда посылали последнее напутствие уходящим, темно-синее пахучее небо раскрылось над ними, неясной массой воздвигся монумент отца-основателя русской науки, впереди над тёмной кровлей Манежа, над купами Александровского сада взошли пурпурные звезды. Астрология будущего предстала перед девочками, прыгавшими с крыльца, и ребятами, которых отмена бального этикета лишила остатков инициативы: они шагали в одиночестве, с жалким независимым видом. Обогнув газон с Ломоносовым, выходили из ворот, налево дорога вела мимо Старого здания к Охотному ряду, туда и двинулось большинство. Девушка и спутник остановились в некотором замешательстве. То, что произошло, было сюрпризом для обоих.

Стендаль отводит три страницы описанию сложных манёвров, благодаря которым Жюльену удалось задержать руку госпожи де Реналь в своей руке. Ира с внезапной отвагой сама просунула руку под левый локоть Иванова. Оправдать эту решительность могло разве только увечье спутника.

И они повернули в другую сторону. В сущности, это было одно движение: взять кавалера под руку и шагнуть направо.

Теперь задача была приноровиться к его неровному шагу. Волнение улеглось, но не надо забывать, что для волнения было достаточно оснований. Получалось, что мы «навязываемся». Так можно было истолковать нарушение этикета. Так нужно было его толковать. Не забудем, что действие происходит в обществе девушек без мужчин и невест без женихов. Возможно, будь Ира постарше, она бы так и подумала: да, навязываемся, лезем к нему; ну и что? Но до этого было ещё далеко. Не следует удивляться деспотизму приличий в государстве, где аскетическая мораль революции обернулась ханжеством, каких поискать. Этикет, как вериги под рубищем у подвижника, сковал юность, ещё не ведавшую о том, что политическая тирания предполагает как некое продолжение тиранию целомудрия.

И, однако, что́ должен был означать этот жест Иры, дерзкая инициатива, которую она взяла на себя, быть может, впервые в жизни? Не могла же она не знать, что такой знак может быть понят превратно. Была ли это в самом деле попытка сближения или всего лишь снисходительность к инвалиду? Или попросту страх в ночном неуютном городе? Иванов шествовал, глядя прямо перед собой, Ира старалась подладиться под его широкий, слегка подпрыгивающий шаг и внимательно смотрела себе под ноги. «А ведь я даже не знаю, — сказала она, держа под руку Иванова или, может быть, держась за него, — как вас... как тебя зовут!»

## ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

В самом деле, было уже поздно; погасли через один уличные фонари; лишь кое-где в тёмных окнах теплятся огоньки керосиновых ламп. В домах после одиннадцати отключается ток. Даже в центре попадают навстречу лишь редкие пешеходы. Город спал и не спал, больше не было будущего, зато явью становились воспоминания. Явь походила на сны, и непросто было отличить одно от другого. «Как зовут... — проговорил Иванов. — Но ты же знаешь, как меня зовут». Он смотрел то на ярко освещённые стеклянные двери подземелья, то на часы у себя на руке, верх роскоши по тем временам.

«Ещё четыре минуты, вот сволочи», — пробормотал Иванов, которого, между прочим, звали Юрий Михайлович; хотя разница между ними была каких-нибудь пять лет, он успешно изображал перед девочкой знающего жизнь человека и даже сноба. Ире казалось, что он ещё старше. Но не называть же его, в самом деле, по имени-отчеству. Был, как уже сказано, поздний час, и чувство ночного города и одиночества вдвоём как-то вдруг пробрало обоих. Четыре минуты остается или, если быть честным, три. А они уже закрылись. Иванов забарабанил в дверной косяк. Светлый вестибюль и эскалатор — ступеньки всё ещё подъезжали из глубины — были пусты.

Несколько времени погода показались голова и плечи уборщицы, она выехала с ведром и шваброй, замотанной в тряпку. Иванов стукнул кулаком в дверь, старуха презрительно покосилась на них. С завязанными на затылке косичками бесцветных волос, болезненно полная, низкобёдрая, в рубище, из-под которого шаркали её голые ноги в шлёпанцах, она превратилась на краткий миг из рабыни в начальницу. Иванов стучал пальцем по циферблату ручных часов. Но теперь стрелки показывали уже первый час ночи. Женщина умокнула швабру, шлёпала и елозила мокрой шваброй по каменному полу. Так она приблизилась к дверям. «Я попрошу!» — громыхнул офицер. Поджав губы, она увидела побелевшие от ярости глаза за стёклышками пенсне, перевела взгляд на удостоверение, которое он держал перед дверным стеклом.

Бесконечный, пустой эскалатор увозил их в подземный мир. Они сидели в мертвенном сиянии газосветных трубок одни на безлюдном перроне, грозно пылало зелёное око у входа в чёрный туннель, большой квадратный циферблат показывал фантастическое время; и прошло неизвестно сколько, девушка сбросила туфли, поколебавшись, улеглась на скамье, поджала ноги в чулках. Иванов выбрался из пальто и укрыл её, рукав свесился на пол, голова спутницы покоилась у него на коленях, и всё ниже опускалась на грудь его огненно-рыжая голова. Он очнулся, взглянул на часы.

Пол слегка ходил под его ногами; штормило. Э, нет, сказал Иванов. Не выйдет.

«Что не выйдет?»

Было и былём поросло, отвечал Иванов. И нечего возвращаться.

Девушка спала, утомлённая своей молодостью, толчейей, голодом, громом духового оркестра. Было уже сильно полночь, он вглядывался в полукруглый проём туннеля, и ему чудился доносящийся из мрака дальний гул поезда.

Голос из темноты сказал:

«Приказ есть приказ».

Мало ли что. Пошел ты с твоим приказом, с меня хватит. Хватит! — чуть было не крикнул он. — Война кончилась. —

Но спохватился, что разбудит женщину. Ответа он не мог различить, ветер рвется из туннеля, колючие льдинки бьют в лицо, вахтенный в меховом комбинезоне, на площадке командной башни, рядом с антенной и трубой перископа, медленно поворачивает голову с биноклем и видит сквозь снежную мглу, прямо по носу, как светлячки, две, потом четыре точки. Он нагнулся к переговорной трубе, тотчас на мостик поднялся командир, точки превратились в огни, командир вопологола отдавал вниз команды.

Оба нырнули в люк, срочное погружение. Огромный освещённый корабль в рамке перископа. Одна за другой три восьмиметровые сигары несутся к цели, четвёртая застряла в торпедном отсеке. Грохнул взрыв, второй, третий, столбы пламени осветили трубы и палубы с чёрной копошащейся людской массой, пароход заволокся дымом, чёрный нос поднялся над водой — последнее, что они видели. Нужно было успеть уйти на большую глубину, где давление воды уменьшало радиус взрывной волны от глубинных бомб. Люди слышали тяжёлый удар молотом с водяных небес, и ещё удар. «С-13» уходила от погони. И снова Данцигская бухта, радиogramма из штаба флота, лодка идёт в разрез волны, ветер в лицо, морозец градусов под двадцать, поглядывай, сказал командир, я на минутку спущусь, хвачу горяченького, справа двадцать заработал маяк, ага, намечается вход или выход больших кораблей. Вахтенный обшаривает в бинокль невидимый горизонт. Огни прямо по носу!

Новый удар потряс лодку, так что вздрогнула скамейка, на которой он сидит, голова женщины на коленях, на этот раз их достали, вода хлынула в отсеки, и тут, наконец, гул и грохот последнего поезда вырвались из туннеля.

## ЭКСПОЗИЦИЯ: ALMA MATER

История, как и природа, не терпит вакуума, то, что принимают за перевал времён, есть итог чего-то, что незаметно копилось до тех пор, пока история не израсходовала своё терпение. Людям, сумевшим дожить до победы, казалось, что

война налетела, как ураган, на мирную жизнь; о том, что мирная жизнь была материнским лоном войны, никто не вспоминал. Все преступления прошлого были списаны, как неоплаченные долги, страдания забыты; люди старались не смотреть на орды слепых, безногих и безруких, наводнивших толкучие рынки и пригородные поезда; нация переживала свой высший триумф, между тем как новая эпоха, словно чудовищный плод-ублюдок, созревала в тёмном чреве истории, чтобы в конце концов разорвать её ложе сна. Новое и страшное приближалось и, в сущности, уже наступило. Смутно, не отдавая себе отчёта, его пришествие чуяли молодые люди. Но тайное дитя было их ровесником, они не помнили прошлого и не интересовались им. Проклятье истории ещё не успело дойти до их сознания.

А пока... пока что цвела прекрасная тёплая осень, лучшее время года в этом изумительном городе, под ласковым солнцем поблескивала брусчатка широкой Манежной площади, кроны Александровского сада под розовато-бурой стеной Кремля только ещё собирались желтеть, и грязно-белые, давно не отремонтированные храмины университета по обе стороны улицы Герцена мало-помалу вторгались в сны, превращались в родимый дом.

Войдём в ворота, обойдём памятник, поднимемся по ступенькам подъезда.

Взбежим по широкой лестнице на площадку под балюстрадами второго этажа: два боковых марша, галерея, бледно-морковные колонны под мрамор, белые монументы вождей и высокие узкие двери аудитории, некогда Богословской, ныне Коммунистической.

*Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!*<sup>1</sup>

Бледный день сквозит через стеклянную крышу. Толпа первокурсников запрудила парадную лестницу. Но можно не подниматься на галерею, можно обогнуть колонны первого этажа, пройти мимо пустой раздевалки, газетного киоска и

---

<sup>1</sup> Вы вновь со мной, туманные виденья. («Фауст», Посвящение. Пер. Н.Холодковского).

уборных, толкнуться в низкую дверь. Прихватив полы чёрного, перешитого из морской шинели, наброшенного на плечи пальто, стуча палкой, в полутьме взобраться по крутым, в три марша, ступенькам потайной лестницы и выйти на балкон Комаудитории.

Там уже сидят: человек семь-восемь. Тускло-золотистая, с узелком на затылке и колечками на висках голова Иры, рядом — как же иначе — Марик Пожарский. Иванов протиснулся, надменно поблескивая стёклышками пенсне, полыхая рыжими волосами. Внизу уступами поднимались ряды сидящих, ерзающих, шумящих, шушукающихся; старец в шапочке, с клинообразной бородкой, тот самый, дремавший в приемной комиссии, восседал на эстраде, кутался в шубу, фетровые боты торчали из-под столика. Всё стихло, профессор Данцигер прихлёбывал чай из стакана с подстаканником, вещал мерно-величественным голосом, который едва доносился до сидевших на балконе.

Толпа текла вниз по широкой лестнице, журчали девичьи голоса, трое стояли под аркой с часами, не решаясь разойтись и не зная, куда податься. Сверху, с галереи второго этажа, озарённые золотушным лучом, их благословляли со своих постаментов гипсовые небожители.

## КОНЕЦ ПОЭЗИИ, ИЛИ РАТОБОРСТВО ПЕВЦОВ В КРЕПОСТИ ВАРТБУРГ

В те времена функционировали поэтические кружки.

Устарелая, как морские карты XVI столетия, география университета на Моховой была бы неполна, если бы, выйдя из Нового здания, мы не обогнули полукруглое крыло и свернули влево, как некогда повернула к югу флотилия Магеллана. Здесь начиналась узкая, как ущелье, улица Герцена, здесь рельсовый путь вёл от Манежа к Никитским воротам; а напротив — залитый солнцем флигель Старого здания и Зоологический музей.

Толкнув тяжёлую дверь, через тамбур с окошками касс, входили в сумрачный вестибюль и видели перед собой невысокую лестницу, мраморный бюст и строки славной оды на постаменте: *Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...*<sup>1</sup> Но не всходили, а направлялись налево, три ступеньки вниз, в полуподвал. Были участники и участницы этих собраний, и доживали свои дни наставники-стихотворцы. Ещё существовали резервации государственных поэтов, редевшие с каждым днем; их обитатели вырождались: ничего не делали, сидели на шее у стареющих подруг, выклянчивали авансы, пили водку и сочиняли стихи, похожие на лапшу. И всё же это был по-своему величественный, полный смертной надежды, как пламя оплывшей свечи, конец. Если бы молодёжь об этом знала! Но она не догадывалась ни о чём. Прозе не было места в катакомбах клуба. Кучкой, как заговорщики, в тусклом коридоре стояли мальчики и девочки, в центре кто-то, рубя кулаком, как полагалось в то время, читал стихи. Входили в комнату, где стоял бесполезный рояль, рассаживались и ждали, когда начнутся стихи. Отворилась дверь, кто-то мешкал перед входом. Все головы повернулись к дверям. Вошел поэт. Он вошел, как врывается ветер, некогда им воспетый. *Итак, начинается песня о ветре...* Посверкивая очами под грозowymi крыльями бровей, прошагал между стульями. *О ветре, одетом в солдатские гетры. О ветрах, идущих дорогой войны.* Упругий ритм, похожий на марш, упрямое чередование одних и тех же согласных, рифма, какой еще не слышали, и главное, какой образ! Эти юнцы не знали, что гетры были взяты напрокат у Киплинга, ибо красноармейцы гражданской войны были обуты в обмотки. *О войнах, которым стихи не нужны.* Воображение рисовало им великана с красной звездой, в шлеме с прорезью, надвинутом на глаза, с ранцем за плечами, солдата, шагающего в серых гетрах по дорогам войны. Следом за руководителем студии ступал никому неизвестный, мрачного вида персонаж в пиджаке, одолженном у кого-то, с плоским перебитым носом на невыразительном лице.

---

<sup>1</sup> Ломоносов, «На день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны».

Гулко откашлявшись, поэт уселся рядом с роялем. Началось чтение. Хорошо одетый юноша в заграничном галстуке, с пробором в масляно-блестящих тёмных волосах, по всему судя, отпрыск важных родителей, артистическим жестом положил ладонь на крышку рояля, взмахнул свободной рукой и заработал кулаком, словно вколачивал сваи, при этом он не произносил некоторых согласных; получилось так:

Юбовь, пьиди, пьиди скоей,  
я пвачу, пвачу, свышишь? — пвачу!

Каждое слово вбивалось кулаком, хотя по тону и настроению стихов это было вроде бы необязательно.

Тузы — пиковые — ночей —  
Мне нагадали — неудачу!

И далее в этом роде. Стихи произвели большое впечатление. Тузы пиковые ночей, это было что-то новое. Это был «образ», нечто ценившееся выше всего. Гуталиновъй юноша смотрел сквозь длинные ресницы куда-то вдаль над двумя рядами девочек, и было странно и волнительно, что такой красавчик жалуется на любовные неудачи. Председательствующий наклонил кудлатую голову в знак одобрения. Прения были отложены на конец заседания, Марик Пожарский, с нетерпением ожидавший своей очереди, приготовился выступить вперёд, с цитрой, как рыцарь Тангейзер в Вартбурге, но тут руководитель вновь густо прочистил голос, что означало переход к главному пункту повестки дня.

Он указал на продавленный нос молодого поэта, автора фронтовой поэмы, у которого, сказал он, применив профессиональный термин, есть интересные ходы. Молодой поэт, впрочем, не совсем уже молодой, с поредевшими, цвета лежалой соломы, волосами, мрачно сказал, сильно налегая на «о», что поэма большая, в ней десять тысяч строк. Поэтому он прочтет другое стихотворение.

В этом стихотворении шла речь о возвращении с войны, о том, что он не собирается уходить на покой, потому что руки саднит от жажды работать, и в некотором противоречии с этим желанием в конце говорилось, что «лучше придти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Все посмотрели на пиджак поэта, но там обе руки были на месте. Председатель предложил перейти к обсуждению. Никто не вызвался. О Марике забыли. Встала маленькая, черноволосая, малиновая от волнения восьмиклассница и попросила разрешения прочитать стихи никому не известной поэтессы Ахматовой. Председательствующий поэт устремил на девочку ястребиный взор, покосился на ручные часы, может быть, сказал он, вы прочтёте что-нибудь ваше. Что-нибудь свое. Девочка обвела собрание умоляющим взором. Поэт развел руками. «Слава тебе, безысходная боль...» — начала она тоненьким голоском. При этих словах поэт встрепенулся, приподнял могучую бровь, соединил пальцы рук.

Слава тебе, безысходная боль!  
Умер вчера сероглазый король.  
Вечер осенний был душен и ал...

## ДОМ ПРИВИДЕНИЙ

В ворота гостиницы губернского города NN въехала рессорная бричка. Но (скажут нам) рессорных бричек давно уже не существует. Нет больше и господ средней руки, нет полковых, выбегающих навстречу, нет поросят с хреном и со сметаной, мужиков, обсуждающих достоинство колеса, нет больше таких колёс и вообще ничего нет. Что же есть, что осталось от гоголевских времён? Осталось ли что-нибудь? В ворота подмосковного дома отдыха, разбрызгивая грязь, въехала машина. Была глубокая осень, время тишины, покоя и вдохновения. Это был дом, непохожий на обычные дома отдыха, принадлежавший особому ведомству, которое не называло себя ни ведомством, ни министерством; это был монастырь муз. В старинном двухэтажном особняке за забором, с

высокими окнами в белых наличниках, с гостиной, где стоял рояль, столовой, библиотекой, бильярдной, постояльцев ожидали уютные комнаты — у каждого своя. Внизу, в прихожей, на дощечке стояло: «У нас в гостях...» — и дальше славные, заслуженные имена. Это был дом отдыха, называемый также домом творчества писателей. Ибо писательство, по тогдашним понятиям, собственно, и было не чем иным, как отдыхом, — не мешки таскать, как выражался плембс. Можно даже сказать, что писательство в некотором высшем смысле было отдохновением от жизни, — хоть и притязало на исключительное знание народной жизни. Творчество, или что там под этим подразумевалось — лежание на кровати, постукивание двумя пальцами по клавишам машинки, мечтательное курение, поглядыванье в окно, — творчество означало, что счастливцев (в нашем случае это был поэт) раз и навсегда освобождён от работы, от вскакивания с постели ни свет ни заря, от впахиванья в автобус, от толчеи в подземных переходах и поездах, в угрюмой толпе таких же обречённых работать, от висения на подножке трамвая, от выстаиванья в очередях, короче, от всего, что называется жизнью. Здесь, в этом доме, можно было встать когда хочется, лечь когда хочется, солидно прогуливаться на свежем воздухе, можно было в пижаме и тёплых домашних туфлях, подняв бильярдное копьё, обдумывать удар по шару или строфу эпической поэмы. Поэт выбрался из машины. С двумя чемоданами и зонтом под мышкой, в толстом ратиновом пальто и мохнатом картузе, тяжело дыша и помогая себе бровями, он взошёл на крыльцо, вступил в прихожую. Он был встречен кокетливой горничной. Немного спустя гость отдыхал в носках на кровати, в комнате на втором этаже, на полу стояли его чемоданы, пальто небрежно брошено на стул. Ветки с остатками жёлтой листвы заглядывали в окно, рабочий стол с пишущей машинкой дожидался гостя. Это был тот самый поэт с грозowymi крыльями бровей, председатель поэтической студии в университете. *Итак, начинается песня о ветре.*

Вернувшись из столовой, он развесил вещи в шкафу, разложил на столе бумаги, книги с закладками. День померк.

Зашумел дождь. Ветер истории ворвался в уютный дом, в полутёмную натопленную комнату. Завтра с утра предстояло засесть за работу. Может быть, это был его последний шанс. Поэт давно не выдавал ничего основательного. Суета и безделье, членство в комиссиях, председательствованье на юбилейных вечерах, суверенное сиденье до поздней ночи в ресторане дома литераторов высосали остатки вдохновения. Величественный, как бог-громовержец, поэт всё ещё был окружён женщинами. Кормился переводами фантомных стихотворцев братских республик. «Баллада о ветре» перепечатывалась в хрестоматиях. Как-то незаметно ветер превратился в движение воздуха, подобное тому, которое создаётся вращением вентилятора. Такие устройства необходимы в эпоху умирания поэзии. Как, когда это случилось? Он звал юность, как зовут сбежавшую любовницу. Ему всё ещё казалось, что ветер улётся оттого, что утасла поэзия, а не наоборот.

Ещё не было написано ни одного связного отрывка, замысел рисовался, словно облачный замок. Это была Илиада наших дней. Её строки были медлительны, в них слышалась тяжкая поступь миллионов, умерший ветер революции должен был вновь зашуметь в них, как ливень за окнами. Демиург истории должен был предстать живым человеком и былинным богатырём. Вождь являл сегодняшний лик революции. С трибуны мавзолея он простирал руку в будущее. Залатать разлезшееся время, соединить завет революции с верой в Вождя, таково веление дня. В конце концов это значило возродиться самому. В заботах об этом, под шелест дождя и поскрипыванье половиц старого дома, он погрузился в сон.

### ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД: ГОСТЬЯ «ОТТУДА»

Настало утро; выпавшийся, умытый, с расчёсанными бровями, он сошёл вниз. Столовая помещалась в самой лучшей, большой и светлой комнате, всю стену занимал монументальный буфет морёного дуба. О бывшем владельце виллы было известно только то, что он некогда существовал и пропал. Посреди комнаты на тяжёлых резных ногах стоял

обеденный стол, за которым рассаживались постояльцы. Позвякивали вилки, разворачивались крахмальные салфетки, хлебница путешествовала из рук в руки, с достоинством намазывалось на ломтики хлеба ароматное бледно-золотистое масло, не спеша, обратной стороной чайной ложечки разбивалась скорлупа яиц, входила улыбающаяся горничная в переднике и наколке, с кушаньями на подносе, всё было по-домашнему, без хамства, аристократично и вальяжно; «будьте добреньки, передайте соль», «с вашего позволения, сыр...», «а что там такое — о, гренки...». Подавальщице — «спасибо, Валюша». Всё принималось как должное, как осень за окном, всё подразумевалось само собой, никто не спрашивал, откуда взялась вся эта благодать.

С опозданием вошла новая жилища, её имя, известное и вместе с тем неизвестное, а лучше сказать — небезызвестное, значилось на дощечке в прихожей. Молва распространилась вполголоса и предшествовала её прибытию. Вошла женщина с тёмным пепельным лицом и серыми, как хрусталь, блестящими глазами, с коротко стриженными полуседеыми волосами, узкая, плоскогрудая, с сигаретой в бескровных губах, в тёмно-суконном платье и накинутой на плечи серой вязаной кофте. Тотчас разговоры за столом прекратились, каждый был занят своим делом. После завтрака все разошлись по комнатам.

С раскрытым зонтом поэт стоял на крылечке в пальто и картузе, дневному сну он предпочитал прогулку. Было это, вероятно, через несколько дней после приезда. Выглянуло чахлое солнышко. Он свернул зонт. Серая дама вышла из дома. На ней был дождевой плащ, пожалуй, слишком лёгкий для этого времени года, голова повязана платочком из такой же ткани. Жизнь в доме, похожем на интернат, облегчает знакомство. По непросохшей тропе вдоль кювета, — худенькая гостья впереди, грузный поэт следом, — дошли до обломанной церкви, где размещалось местное сельпо. Сигарет, к сожалению, не оказалось, с сигаретами в этой стране была проблема. «В этой стране?» — переспросил он. Она кисло улыбнулась, поправилась: «В нашей стране». Это была, сле-

довательно, «наша страна». Поэт иронически поднял бровь. Дама купила пачку папирос «Звезда». Улица вывела к лесу. Побрели вдоль опушки. Он спросил, где она поселилась.

Нигде, был ответ.

Закурив, она добавила:

«В Литфонде обещают что-нибудь подыскать. Пока буду жить здесь». На осторожный вопрос, одна ли она приехала, не уточняя, приехала ли в дом творчества или «вообще», — она ответила: одна.

Солнце то проглядывало, то исчезало за набухшими влажной облаками. Он не спросил, откуда приехала. Это было более или менее известно. Из царства теней, вот откуда. А может быть, мы здесь, подумал он, кажемся ей теньями. Чушь: мы здесь жили. Мы воевали, мы... он споткнулся и чуть не шагнул в воду. А они там прозябали. Шли осторожно, точно по минному полю. Обходя лужи, перешагивая через корни.

«Странно», — проговорила поэтесса и остановилась. Папироса между пальцами; хрустальные глаза устремлены в пустоту.

«Что странно?»

«Всё. И этот лес, и село».

«Вы хотите сказать: посёлок?» (Приятно и горестно было ловить её на ошибках.)

«Да. Ничего не изменилось! То есть, конечно, всё изменилось. И в то же время...»

«Вы здесь раньше бывали?»

«Здесь — нет».

«Простите, я перебил вас. Вы хотели сказать, всё — то же и всё другое?» Серая дама пожала плечами. «Вы не можете себе представить, — сказала она, — что это за чувство, слышать везде, изо всех уст русскую речь».

«Сколько времени вы не были, э?...»

«В России? С двадцатого года. Мы уезжали из Новороссийска... Вас эта тема не смущает?»

«Меня? — спросил поэт. — Нисколько».

«Я представляю себе, как вы на всё это должны смотреть».

«Как?»

«Вы один из главных поэтов той поры». (Она не сказала — советских.)

«Что значит — главных?»

«Самых известных».

«То есть... — он усмехнулся, — принадлежу этому времени?»

Она возразила:

«Мы все принадлежим этому времени».

Прошагали ещё немного.

«Итак... — промолвила серая дама. Она остановилась, улыбаясь, смотрела в пространство. — Итак, начинается песня о ветре...»

Проклятье. Как будто с тех пор он ничего больше не написал.

«О, простите. Это, кажется, Светлов. Или Луговской?»

«Нет. Это я».

«Идёт эта песня, ногам помогая. Качая штыки... Они все уже умерли».

«Некоторые живы... Вы неплохо знаете нашу поэзию».

«Поэзия общая. Или ничья. Как язык. Как эти облака... И всё-таки странно. Ведь мой муж тоже воевал. Он был в Добровольческой армии», — сказала поэтесса и покосилась на собеседника — вызывающе, как ему показалось. Он подумал: сомнамбула. Нет, хуже.

Вслух он сказал:

«Я это знаю».

Она подняла брови. «Вы знаете, что мой муж был белым офицером?»

«Да. И что он погиб при отступлении».

«Откуда вам это известно?»

«У вас есть стихи».

«Ошибаетесь; вы, очевидно, имели в виду Цветаеву. Нас иногда путают».

Шли дальше.

«Я на гражданской войне по существу не был. Заболел сypньяком, не доехав до фронта».

«Это было тысячу лет назад, не правда ли?»

«Пожалуй, — сказал он. — Или позавчера».

Обогнув лесок, вышли к полю, заросшему почернелой травой. Поэт спросил, не собирается ли она что-нибудь опубликовать на родине. Собираюсь, сказала серая дама. Кто-то предложил подготовить небольшой сборник. Впрочем, совершенно напрасная затея.

«Но почему же?»

«Не напечатают. Меня здесь никто не знает. Говорят, уже есть отрицательный отзыв».

«Может быть, я мог бы вам...»

«Быть полезен? — быстро спросила она. — Спасибо, — и покачала головой. — Мне никто ничем помочь не может».

Она добавила:

«Даже если бы что-нибудь из этого получилось. Меня никто не станет читать!»

«Вы ошибаетесь».

Она промолчала.

Поэт назвал её по имени-отчеству, она встрепенулась. Можно ей задать вопрос?

«Сделайте одолжение».

«Вы не жалеете?»

Она не спросила — о чём. Усмехнулась:

«Не жалею».

«Извините моё любопытство... мою назойливость».

«Что вы, что вы».

«Я, конечно, понимаю. Но всё же. Что побудило вас?..»

«Вернуться?»

Поэт кивнул, и они продолжали свой путь.

«Нет, — сказала она, — здесь очень грязно».

На ней были лёгкие туфли; повернули назад.

«Логичней было бы спросить...» — пробормотала она.

«Кажется, снова крапает, — сказал поэт и раскрыл зонт. — Можно мне взять вас под руку?»

«Логичней задать вопрос, что могло бы меня остановить. Что останавливает многих. Страх? Вражда? Верность белой идее? От этой идеи ничего не осталось...»

«Да, конечно».

Она усмехнулась: «Откуда вам это известно?»

Поэт пожал плечами. Должно быть, сказал он (или хотел сказать), должно быть, мешает вернуться и ещё кое-что.

«Вы имеете в виду возможные репрессии. Может быть. В конце концов, судьба Марины и ее семьи должна была бы всех насторожить... Но ведь и это было давно, времена изменились. Как вы думаете?»

«Да, да, — поспешно сказал поэт. — Разумеется, времена изменились».

«Правительство даже специально обратилось к эмигрантам».

«Да, конечно».

«Что касается меня, то есть что меня заставило преодолеть страхи... или предубеждения... Было много оснований для возвращения. Само собой, против меня ощетинились многие. Я имею в виду литературную эмиграцию... Даже Бунин, и тот... Впрочем, он-то и ополчился на меня больше всех. Хотя не одна я решила вернуться. Но, в конце концов, дело не в этом».

Помолчали; поэт ждал продолжения.

«А дело в том... — сказала она, осторожно ставя туфли, перепачканные глиной, — это, может быть, слишком громко звучит... Дело в том, что я почувствовала, как бы это объяснить».

И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать,  
Но всё же к милому пределу...

В Sainte-Geneviève-des-Bois мне бы лежать не хотелось».

Зачем тебе, подумал он вдруг. Ты и так мертва.

Но он не знал французского языка и спросил: что это такое?

«Русское кладбище. Километров пятнадцать от Парижа. Там, можно сказать, лежит весь цвет».

«Что ж...» — пробормотал он.

«А вы? Вы как считаете? Искренность за искренность».

«Я?.. вы хотите знать моё мнение?»

«Да. Хочу».

«Стоило ли возвращаться».

«Да».

«Вам».

«Да — к примеру. Я понимаю, — сказала дама в сером, — что задаю бестактный вопрос. Вам, советскому патриоту. Хотите, я сама отвечу? — Не стоило».

«Вот как!»

«Но и оставаться не стоило. Дело в том, что поэзия умерла».

«Умерла?»

«Да. И там... и здесь».

Дождь зарядил. Вот оно, думал поэт. Это и есть нужное слово. Ты сама — смерть. Слава Богу, ничто из того, о чём она говорила, — её заботы, её холодное отчаяние — нас не касается.

Вдруг оказалось, что собеседница куда-то делась. Он окликнул её, снова по имени и отчеству. Она стояла за углом — лишняя, как вставной эпизод в романе.

Он подумал о том, что сейчас они вернутся (пожалуй, будет лучше, если не вместе), он взойдёт на крыльцо тёплого, уютного дома и оставит мокрый зонт в прихожей. Поднимется к себе и зажжёт настольную лампу. Начинает темнеть. Дни стали совсем короткие. Он ещё полон сил, ему жить и жить. Умерла ли поэзия? О, нет. Поэт наденет домашние туфли, закурит, завернётся в халат. И примется за эпохальный труд.

## ИРА У БАЛЮСТРАДЫ

Был на нашей памяти один студент, зубрил науки, сдавал зачёты и переходил с курса на курс, а сам тайком, дважды в неделю ездил в подмосковный посёлок и оканчивал вечернюю среднюю школу. Неизвестно, как он сумел стать студентом без аттестата зрелости, — впрочем, можно добыть фальшивый аттестат. О Марике Пожарском тоже можно сказать, что он был в некотором роде кавалером без аттестата зрело-

сти; очутившись в высшем учебном заведении, оставался школяром и всё ещё переживал эпоху, когда каждое увлечение представляет любовь с первого взгляда. Этот взгляд натывается на какую-нибудь деталь, как взгляд кинозрителя на грудь актрисы, словно ненароком показавшуюся в кадре. Можно более или менее точно указать время, когда случилось короткое замыкание: были ранние осенние сумерки. Матовые шары уже сияли на галерее. Народ высыпал на перерыв из Русского кабинета. Марик был студентом романо-германского отделения, но этот кабинет, комната с диваном, книжными шкапами и столиками, на которых стояли лампы, за недостатком свободных аудиторий давал приют группам всех отделений. Марик стоял в дверях, в неопределённой задумчивости, ничего не видя перед собой, невзначай поднял голову и увидел два девичьих силуэта. Они стояли шагах в пяти спиной к нему. Одна из них наклонилась над балюстрадой.

Она встала на цыпочки, отчего её красное платье слегка приподнялось, обрисовались бёдра, обнажились обтянутые чулками подколенные ямки, и прежде чем Марик сообразил, в чём дело, эти ямки отпечатались, как на целлулоидной плёнке, на дне его глаз.

Камера отъехала; Марик увидел её всю. Ира звала кого-то спускавшегося по лестнице, её ладони упирались в плоскую поверхность балюстрады. Платье из поблескивающей материи, должно быть, из сатина, с отделкой вокруг шеи, слегка вздёрнутое, облегло её тело, очертилась линия от рыжеватых завитков волос к приподнятым плечам, от подмышек к талии, где обозначилась поперечная складка, и далее, описав полукруглые бёдра, задержавшись на сотую долю секунды, взгляд опустил к слегка напряжённым икрам, к пяткам, привставшим над белыми туфлями-босоножками.

Ира на цыпочках, рядом с подругой, для Марика, впрочем, не существовавшей, склонилась над балюстрадой, нашла кого-то внизу, и вслед за этим движением поднялось ее светлопунцовое платье, подчеркнуло рисунок бёдер и обнажило подколенные ямки. Тут он заметил, — чего никогда не умел замечать, — что красный цвет замечательно подходит к золотистым волосам, увидел, наконец, её всю.

Ира крикнула, смеясь, кому-то идущему вниз по лестнице бессмысленные слова и, очевидно, сейчас же забыла о нём; теперь она стояла вполборота к подруге, которая что-то настойчиво твердила ей; красное платье опустилось до коленок, Ира сняла руки с балюстрады, подняла ладонь к волосам, и снова едва заметно обрисовалось её тело, открытия следовали одно за другим, изгиб талии подчеркнул лёгкую выпуклость зада, из-под локтя показалась её грудь, но зрение было ослеплено, и Марик, если бы он закрыл глаза, увидел бы на сетчатке всё ту же фигуру, склонённую над балюстрадой. Почувствовав на себе посторонний взгляд, она обернулась, зеленые глаза смерили Марика. Всё это продолжалось, вероятно, не больше минуты, и, круто повернувшись, он вошёл в кабинет.

## НОВОЕ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Ах, какая началась жизнь. Полная загадок, захватывающего интереса, недоговорённости, таинственных взглядов, небрежных реплик. Жизнь, в которой обычные слова были пароллями особого диалекта, топорный перевод с иного, несравненно более тонкого языка. Как в обыкновенном языке смысловые оттенки каждого слова образуют некоторое семантическое поле, так сигналы тайного языка обретали смысл в магнитном поле особого рода. Генератором этого поля была девушка.

Вечером, когда над опустевшей галереей второго этажа теплились бледно-желтые шары, Марика Пожарского пронизывали волны таинственного предчувствия. Он топтался между статуями из алебаstra, расхаживал вдоль морковных колонн, соединив брови, точно решал математическую задачу, висел на балюстраде, борясь с искушением поглядеть вниз, на старуху-сторожику и входную арку, и всё это до тех пор, пока не приходили в движение стрелки некоего прибора, пока сердце-счётчик не принималось отстукивать импульсы силового поля. Тянулись минуты, ожидание стало невыносимым.

мым. И вот показались под аркой ноги в танкетках, показалось пальто, суженное в талии, появилась она вся. Ира всходила по лестнице, опустив голову, на ходу расстёгивая потемневшее на плечах пальто, откинув капор, встряхивала мокрыми завитками волос, вышла на галерею. «Ты?.. Привет», — сказала она с притворным удивлением. По правде сказать, она удивилась бы, если бы его тут не было.

Ира выросла на Арбате в старинном доме, который видел конницу Мюрата; как все, проживала в коммунальной квартире и, как большинство граждан, не чувствовала себя обделённой. Полутёмный длинный коридор, заставленный рухлядью, упирался в их дверь; большая комната была разделена пополам занавеской, переднюю половину перегораживал дедовский шкаф, справа помещались родители, слева спала Ира. В задней половине обитало семейство старшего брата, молоденькая, возраста Иры, жена и ребёнок. Ира мыла пол, стирала, стояла в очередях, нянчила плачущее дитя и знала, в буквальном смысле понаслышке, в чём состоит ритуал интимной жизни мужчины и женщины; шепот, скрип кровати, боязнь беременности, боязнь, что услышат, были компонентами этого ритуала.

Ира была невысокого роста, от природы несколько наклонна к полноте и лет через десять должна была превратиться в толстушку, если предположить, что к тому времени жизнь станет сытой. Ира мелко и твёрдо ступала на своих крепких коротковатых ногах, слегка покачивая бёдрами, которых ждало блестящее будущее. Она успела вступить в возраст, когда девическая неуклюжесть начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. Весь её облик, походка, посадка головы как бы говорили: иначе и быть не может.

Кем-то сказано, что девушки бывают из серебра или из золота. В бледнозолотистом ореоле волос, казавшаяся бледной, с синевой под глазами, что можно было отнести на счёт женского нездоровья или хронического недоедания, она стояла перед Пожарским, давая понять, что он мешает ей пройти в читальный зал. Ощущала ли она невесомое дрожание, шелест магнитного поля, которое окружало её? Скорее

она сама находилась под его воздействием, чувствовала, входя в университет, что её несёт прозрачное облако. Временами ей начинало казаться, что она влюблена; но в кого? В себя, разумеется. Предметом тайной симпатии, если не вожделения, была она сама, её тело, её походка; как если бы в ней самой жил подросток и подглядывал за женщиной. И она искала редкой возможности побыть одной, чтобы, сбросив одежду, насладиться лицезрением самой себя перед волшебным стеклом. Совсем другой вопрос, была ли она готова хотя бы пальцем шевельнуть, чтобы ободрить Марика. Она спросила, что он тут делает. Последовал неопределённый ответ, неохота идти домой или что-то в этом роде; но на том подлинном языке, где не было склонений и спряжений, на языке без слов, ответ не допускал двух толкований. «Надо к завтрашнему сделать перевод», — сказала она. «Я тебя подожду, ладно?» — отважно крикнул он вдогонку. Удаляясь, она слегка пожала плечами.

## ВПРОЧЕМ, НЕ ТАКОЕ УЖ НОВОЕ

Если Ира (как большинство её сверстниц) к этому времени успела открыть себя, то неуверенность Марика объяснялась тем, что он всё ещё искал себя и не мог найти.

Девушка, стоящая перед зеркалом, делает открытие, подобное открытию Колумба; то, что предстало ей, не есть то, что она искала, но именно то, что надлежало открыть. Она испытывает чувство раздвоения; вот так могли бы её видеть другие; разглядывает себя как нечто новое и вместе с тем — «то самое»; та, что стоит в стекле, свидетельствует, что это она сама. Чтобы окончательно убедиться, она проводит руками от подмышек и ниже, вдоль талии, да, это её грудь и лирообразные бёдра. Её нежный, воздетый кверху подбородок. Все, что удостоверяло в ней женщину, что подчеркивало и делало неопровержимым ее пол, — всё это была она сама. Иначе обстояло дело с Мариком Пожарским.

Известная теория о том, что пенис есть символ власти, что его отсутствие воспринимается как потеря и, дескать, вот откуда снедающая женскую душу тайная зависть, досада, от-

чего ты не родилась мальчиком, — теория эта показалась бы Марику абсурдной, ибо он вовсе не гордился тем, что имел, и уж, конечно, не притязал ни на какую власть. На самом деле, если уж на то пошло, присутствие этого придатка тяготило, смущало, было причиной постоянной неуверенности, неловкости, беспокойства и тайных мук.

В темнице своего «я», куда едва проникали косые лучи света, барахтаясь в собственной душе, как на дне колодца, Марик не имел представления о том, чем жили и дышали представительницы другого пола, чем жила Ира, о чём она думала, чего хотела; само собой, невозможно было решить и насущный вопрос: какое место он занимает в её душе? Их «отношения» — приходится взять это слово в кавычки — можно было бы назвать приятельскими, если бы не влюбленность; можно было бы назвать любовью, если бы из них старательно не изгонялось всё, что напоминало о любви. Ведь сказал же Гейне: все мы сидим голые под нашей одеждой. Как под одеждой таилось нечто неупоминаемое, так под покровом студенческой фамильярности скрывалось напряжение, которому не было исхода.

Марика Пожарского, как и всех очень молодых людей, сбивало с толку очевидное противоречие: весь вид юной женщины говорил о том, что она созрела «для этого», а между тем эти существа вели себя так, словно ни о чём не догадывались, словно никакой любви и чувственности не существовало; был ли это стыд, гнёт репрессивной морали, расчётливая тактика — или Ира в самом деле ни о чём таком не помышляла?

Марик завидовал девушкам, не подозревая о том, что округлившиеся формы, которых не скроешь, могут подчас причинять такие же муки. Позу презрительной независимости он принимал за чистую монету. Получалась странная вещь: если девицы были снедаемы тайным беспокойством, всё ли у них «в порядке», если они готовы были часами разглядывать себя в зеркалах, не упускали ни одной витрины, утешаясь зрелостью своих форм и вновь отыскивая изъяны, если с придирчивостью, не знающей снисхождения, с зави-

стливой наблюдательностью оглядывали друг друга, у одной находили кривые ноги, у другой плоскую грудь, — то мальчики испытывали стыд и неловкость именно оттого, что стали мужчинами.

Мелькало ли у него хоть изредка подозрение, что от него ждут большей решительности? Эх, ты. В затуманенном взгляде Иры как будто сквозил упрёк. Немое поклонение надоедает. С чисто женской зоркостью она отметила, что Марик смотрит на неё не так, как «надо», не оглядывает её, как подобало мужчине, и почувствовала к нему жалость: Марик попросту ничего не видел. На самом деле Марик видел её лицо, видел её сразу всю; однажды вздрогнув от неожиданности, как от спички, вспыхнувшей в неумелых пальцах, он больше не разбирался в подробностях. Так близорукий любит пейзажем, так простодушный читатель воспринимает книгу целиком, не замечая красот стиля, не умея оценить композицию целого и отдельных глав.

Да, но она могла думать совсем о других предметах! Очень может быть, что она вовсе не помышляла о нём. Марик нужно было прожить на свете ещё столько же лет, сколько он прожил, чтобы научиться угадывать мысли женщин. Он убедился бы, что мысли эти чаще всего не отличаются оригинальностью.

Между тем зловещая репрессивная мораль не допускала даже мысли о том, что могло бы произойти, если бы Марик набрался отваги и перешёл в наступление. Стоп! Полосатый шлагбаум перекрыл дорогу в солнечные страны чувственности. Отдавал ли себе полуподросток второй половины сороковых годов вообще сколько-нибудь внятный отчет, что собственно является «целью», не был ли для него половой акт профанацией любви? Как ни удивительно (а впрочем, неудивительно), мальчики оказывались консервативней девочек. В то же время викторианский этикет предписывал отношение к женщине как к *être-objet*<sup>1</sup>. Коммунистическая мораль провозгласила равноправие полов, но при этом неявно навязывала

---

<sup>1</sup> Одушевленному предмету (*фр.*)

женщине роль пассивной стороны. *Шагать с мужчиной в одном строю.* Это ведь не то же, что рекомендовать мужчинам шагать в одном строю с женщиной. Быть может, — подчиняясь той же морали, — Ира в самом деле чего-то ждала. По крайней мере, ждала внятного объяснения. Ждала в этот вечер, ждала завтра. Потом... как бы это выразиться? Перестала ждать. Каждодневные встречи в университете, рутинные занятия, привычные шуточки, какой-то порхающий, приятельский, пошловатый тон сделали своё разрушительное дело. Игра, лишённая необходимой тактики обороны, игра без риска, словно игра в шахматы без опасности получить мат, лишалась смысла.

Вечер длится, вечеру нет конца, жёлтые шары сияют под высокими потолками, исполинские гипсовые кумиры осеняют широкую лестницу, тускло отсвечивают псевдомраморные колонны, наверху розоватые, цвета бледной моркови, внизу серые, как ливерная колбаса или суррогатное кофе с молоком. Сторожиха в тулупе дремлет на своём посту за столиком под аркой с часами. Марик бодрствует наверху.

Он стоит, прислонясь к колонне, опираясь локтем на плоский край балюстрады, щека подпёрта ладонью. Одна и та же мелодия без конца прокручивается в оцепенелом мозгу, волшебный, баюкающий звукоряд: «Утро в горах». *Нáрара, рáрара. Нáрара, рáрара.* А ещё — монотонно позванивая, постукивая, бодрым баском-говорком: *Был обеспокоен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет...* «Песенка ночных бомбардировщиков», ансамбль под управлением Леонида Утёсова. И опять Григ. Всё опустело, всё умерло, в коридорах темно. Мысли, звуки плывут над головой. Облачно-слизистые существа, крохотные монстры — голова и хвост барахтаются в мутной светящейся влаге. Он ждёт, когда, наконец, закроется читальный зал.

Что же мешает ему войти в читалку, сесть напротив? Стыд, робость, боязнь быть назойливым, а может быть, гордость? Ира знает, что он ждёт, и нарочно тянет время. Значит, не забыла, что он ждёт. Это испытание верности. Бесконечно тянется поздний вечер. Последние студенты-зубрилы

уныло спускаются по лестнице, пробудившийся Марик впери́л байронический взор в пространство, — она должна увидеть его надменный профиль, его равнодушный, его отрешённый профиль, и вот, наконец-то: она появляется в дверях, он замечает её краем глаза. Не удержавшись, поворачивает голову, проклятье, это не Ира. В опустевшем зале Марик бредёт между столами, подходит к усталой библиотечарше. Его не удостаивают ответом. Иры нет, и неизвестно, как, когда она ускользнула. Шары под сводчатым потолком померкли, свет горит только внизу.

## ШЕСТВИЕ МАРИКА ПОЖАРСКОГО ПО НОЧНОМУ ГОРОДУ

Марик сбегал вниз по лестнице с чувством, похожим на радость висельника, нагло насвистывая: *Мы летим, ковыляя во мгле! Мы летим на последнем крыле!* Завораживающая мелодия. Всё пропало. *Бак пробит, хвост горит, но машина летит.* Ступенька, еще ступенька. Машина летит! *На честном слове и на одном крыле.* Мужественно-расслабленным говорком, с англосаксонскими синкопами:

Ну, дела! (Там, та-та́м). Ночь была...

Все объекты разбомбили мы дотла. (Та́м, тарáм!)

Мы ушли, ковыляя во мгле.

Он шагает по влажно поблескивающему тротуару. На черном небе восходят малиновые светила. Город принимает его в свои объятия. Город, где только и можно жить. Фантастический, единственный в мире. Где всё вместе, эпохи и страны, Византия, Италия, Золотая Орда и Герцен с Огаревым, орлы на круглых щитах над воротами и подъездом, будка милиционера — посольство вчерашних друзей и союзников, перед которым не рекомендуется останавливаться, а вот мы возьмём и остановимся; и напротив, по ту сторону пустынной площади Манежа, за тёмной оградой Александровского сада и

зубчатой стеной купол дворца, над которым в космическом небе, в призрачном сиянии плещется флаг, чёрный с кровавым отливом. Всё вместе, рядом, одно к одному. И где-то там, за светящимся окном, кабинет. Лампа на столе, и какой-нибудь персидский, шамаханский ковёр, по которому Вождь неслышно расхаживает в своих штанах с лампасами, заправленных в сапоги.

Там ли он? Остаётся ли он ещё человеком из плоти и крови?

Дальше, дальше... подъезд Колонного зала, Аполлон над четвёркою мраморных лошадей, в пахучей тёмной ночи сверкающая надпись над крышей ЦУМ'а: *Слава народу-победителю!* И везде, во всём одна и та же великая, зловещая и вдохновляющая тайна. Марик Пожарский шагает по городу, его шествие напоминает плаванье Зигфрида по Рейну, напоминает шаги командора, напоминает ночной смотр императора в треугольной шляпе. Он идёт пешком, ему далеко идти.

Вся команда цела,  
И машина пришла  
На честном слове и на одном крыле.

Поздно; гаснут фонари. В это время в старом арбатском доме Ира давно уже спит в своём закутке, подложив руку под щеку, антикварный шкаф отгораживает её от родителей. Станным, даже абсурдным, не правда ли, покажется сравнение магнитного поля восемнадцатилетней барышни с другим, мощнейшим излучением, которое ощущали все от мала до велика. С полем высокого напряжения, чьё смертоносное действие мог выдержать только тот, кто родился в нём или десятилетиями привыкал к его шелестящему присутствию.

И всё-таки, всё-таки... *Мы летим, ковыляя во мгле.* Юность сумела уравновесить воздействие двух полей, юность ухитрилась не замечать грозного шороха и потрескивания. Как лунатик не знает, что может споткнуться и упасть с высоты, так юность не подозревала о страшной опасности, подстерегавшей её на каждом шагу.

Но какой ценой, чем было куплено это шаткое равновесие? Любовь к тому, кто, скрывшись от всех, присутствовал всюду, чьи портреты давали не более адекватное представление об оригинале, чем иконы и фрески — о реальном облике божества, любовь к Вождю-Спасителю, которому молодые были обязаны своей молодостью, старики своей старостью, нищие своей нищетой, богачи богатством и в конце концов все и каждый — тем, что они живут, — не размагнитила ли эта любовь половую энергию? Кого нужно больше любить: Вождя или подругу? Конечно, Вождя! Женщина «отвлекает».

Люди старшего поколения помнили времена, когда он был человеком из плоти и крови. Чего они больше не могли вспомнить — когда и как влечение к Вождю начало заменять влечение к противоположному полу. О каком противодействии могла идти речь? И всё же, возвращаясь к Марику, мы можем сказать, что любовь к Вождю (или её остатки) была в конце концов перечёркнута. Чем? Любовью к Ире, чем же ещё.

Был обеспокоен очень  
воздушный наш народ.  
К нам не вернулся ночью  
с бомбёжки самолёт.

## ВОЖДЬ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ НОЧИ

Никто не знает, что в этот час вблизи опустевших улиц, по которым бредёт Марик Пожарский, в клинике для особо почётных больных, нарушая режим, в своей палате с цветами, с картиной на стене, письменным столом и диваном для посетителей сидит знаменитый человек, великий артист или, точнее, режиссёр. Лампа с молочным абажуром освещает его бессонную всклокоченную голову. Синяя ночь дышит из приоткрытой фрамуги. Дорогой товарищ Сталин. Так принято, так требует этикет; говорят, он сам любит, чтобы его так называли.

Но с такими словами может обращаться к Вождю какая-нибудь доярка, так адресуются все — в воздух, в пространство, к великому портрету, с рапортом и славословием; а он — от-

нюдь не «все», и писать собирается по сугубо личному, но вместе с тем и государственно-важному делу, пишет, чтобы тот прочёл. Дорогой — и дальше по имени-отчеству? Этикет не предусматривает такую форму. Но и не запрещает. Всё дело в том, что в ней заложен особый смысл, в ней заключена уже некоторая степень доверительности, как бы намёк на близость и даже симметрию: великий артист — и Вождь. Вергилий и Август. Властители знают цену искусству, ибо только искусство сохранит их имя в веках, художник же, в свою очередь, нуждается в верховном покровительстве; оба, страшно сказать, но ведь это действительно так, оба — зависят друг от друга.

*Дорогой...* — и, подержав на мгновение в воздухе золотой «паркер», он выводит имя и отчество.

Далее — этикетное извинение за причиняемое беспокойство.

*Я до сих пор...*

Это «я», конечно, большая дерзость, «я», которым начинается абзац и всё письмо; что это ещё за «я», спросит Вождь, какое такое «я»? Но художнику, которого знает весь мир, позволительно говорить от собственного имени.

*Я до сих пор не писал Вам...*

Больной задумался. Получается, что он берёт на себя не только право писать к Вождю, но даже право самому решать, когда ему воспользоваться этим правом. Вождь может сказать: зачем вовремя не обратился ко мне? Почему скрываешься от меня? (С характерным для него акцентом.)

*Я до сих пор не писал Вам, чувствуя и зная, как сильно Вы заняты...*

Все знают, что Вождь занят. Но художник это ещё и чувствует — своим особым, пророческим чутьём.

*...как сильно Вы заняты и перегружены серьёзнейшими государственными делами.* Но ведь и художник занят важнейшим государственным делом.

*...как сильно, та-та-та... государственными делами. Однако, поскольку меньшей нагрузки для Вас в ближайшее время не предвидится...*

Вождь оценит эту шутку.

*...я всё-таки берусь написать Вам.*

Тяжёлый вздох. Теперь — к делу. Пора брать быка за рога.

*Дело идёт о Второй серии.*

Разумеется, нет никакой необходимости напоминать Вождю, что это за Вторая серия: он в курсе дела, он внимательно следит за этой работой.

*Мы настолько торопили завершение к началу этого года, что сердечные спазмы, появившиеся у меня от переутомления, в свою очередь завершились сердечным припадком (инфаркт), и вот я уже четвёртый месяц нахожусь в больнице.*

Человек со вздыбленными волосами снова вперил взгляд в пространство, ему пришли на ум стихи народного поэта, другое Слово к Вождю. Как бы вылившееся прямо из сердца, произвольное. Искусно имитирующее бесхитростность и в самом деле бесхитростное, продиктованное чувством, которому, в свою очередь, кое-что продиктовали. Впрочем, самое известное стихотворение последних лет.

Оно пришло, не ожидая зова.

Оно пришло, и не сдержат его.

Позвольте ж мне сказать Вам это слово...

Поэт прекрасно понял свою роль, она состояла в отсутствии какой-либо роли, какого бы то ни было задания. А вот просто так, и ничего не поделаешь, пришло, и не сдержат его. Пусть другие изобретают искусные рифмы, стараются удивить смелой метафорой. *Простое слово сердца моего.* Хитрый простачок. Его наивная восторженность, его простодушная, крестьянская, пастушеская искренность такова, что он доходит до невозможного, только вдуматься — он говорит: мы так Вам верили! *Как, может быть, не верили себе.* Что это значит? Неужели он хочет сказать, что «мы» уже потеряли веру, осталось разве только поверить Вождю?

Режиссёр размышляет о том, что его назначение иное. Он не лежит, повергшись ниц, истекая благодарностью, у са-

пог Вождя. Он — Художник. Вождь может выказывать недовольство, Людовик XIV тоже был порой недоволен Мольером. Вождю может на понравиться его смелость, он может критиковать его, всё это — то, что можно назвать внешним диалогом Вождя и Художника. Но существует внутренний, неслышный для окружающих, неизвестный современникам разговор, который они ведут наедине друг с другом, и тут они — на равных. О, как тяжело это бремя, как тяжко давит плита на грудь.

## ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ

В эту минуту (больной лежит на высоких подушках, руки поверх одеяла, грудь открыта, крохотная таблетка под языком, капли пота на лбу, знакомая история, не хочется вызывать сестру, не дотянуться до кнопки сигнала, боязно шевельнуться, кажется, нитроглицерин начал действовать, болит голова, это хорошо, главное — не поддаваться, медленно, равномерно, глубоко втягивать воздух), — в эту минуту он отчётливо, так что потрескивают седые волоски на груди, испытывает лучевое воздействие Вождя, дрожание электромагнитного поля. Там тоже не спят. Вождь шагает по ковру в своём кабинете, из угла в угол, и, может быть, в эту минуту подошёл к высокому окну, смотрит на спящий город в редких огнях, под сенью красных, как леденцы, звёзд, — и думает о Художнике. Впервые с такой отчётливостью, физически, животом, мошонкой, режиссёр ощущает связь между собой и Вождём. Поле Вождя заряжено сексуальной энергией. Больному кажется, что сейчас произойдёт эрекция. Кстати, он всегда был чувствителен к красоте и могуществу мужчин.

И Вождь, несомненно, сознаёт эту близость. Вождь его поймёт. Он разрешит все трудности. Ведь это и его собственные трудности. Легче дышать. Мысли вернулись к незавершённой Второй серии. Шаги в коридоре. Это идёт дежурный врач.

Со слабым скрипом, с пением открывается белая дверь палаты, входят рынды в высоких шапках, в белых кафтанах

со стоячим воротником и сафьяновых сапожках с загнутыми носками, серебряные топорики на плечах. Становятся по обе стороны у косяков. Входит, стуча посохом, вбивая наконецник в пол, покачивая набалдашником, огненноглазый, косматый, жидкобородый, татарообразный царь Иоанн IV Васильевич, это артист Черкасов. Великолепно найденный типаж.

Как его пропустили в этот час, спрашивает больной.

Царя — и не впустить! — удивляется Черкасов.

Должно быть, узнали. По Первой серии.

Может, скажешь: по картинке в учебнике? — грозный гость ухмыляется.

Впрочем, ты ещё до войны прославился, замечает больной. *Жил однажды капитан...* Паганель, «Дети капитана Гранта», бирюльки.

Кто-то услужливо придвигает кресло. Царь Иван усаживается возле постели, теперь он в длинной холщёвой рубаше. Согнутый в три погибели, тощая шея торчит между ключицами, борода вперёд, длинные плоские волосы, смазанные лампадным маслом, закрывают уши, рука высоко над головой висит на посохе.

Не знаю, говорит, никакого Паганеля. Не ведаю никакого Черкасова, не учён. А тобою недоволен.

Величественно-скрипучий, насморочный голос, великолепный актёр. Режиссёр одобрительно кивает. Жестом вносит небольшие поправки. Чем бы ты был без меня, думает он. Эстрадным фигляром. Ты — моё творение. Дитя моей фантазии, моего творческого гения.

Царь пронзает его огненным взглядом. Меня слушай! Али глухой?.. Недоволен я, шибко недоволен.

В чём дело, иронически осведомляется больной. Глубокая ночь, город спит, в палатах спят пациенты, писатели, генералы, ответственные работники аппарата ЦК, рядовых людей здесь нет, в просторном полутёмном коридоре бодрствует за своим столиком перед лампой с черным абажуром, перед щитком с лампочками палат ночная сестра, дремлют

дежурные врачи в своей комнате, опустив голову, сидит лифтёр в освещённой кабине, тишина, ничто не мешает их разговору.

*Сейчас опасность миновала, и в ближайшее время я перехожу на санаторный режим. Физически я поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы лично до сих пор не видели картины, уже готовой...*

Видел, как же, говорит Черкасов, члены Политбюро мною довольны. А вот тобою — лично я, — и он качает масляной головой, — нет!

*Картина является второй частью задуманной трилогии... сюжет строится вокруг боярского заговора и преодоления царём Иваном крамолы.*

Какой-нибудь Ромм, какой-нибудь Большаков или это ничтожество — Александров могли на него клепать, но царь — чем же он недоволен?

Кому, стонет самодержец, воздев костлявые руки, борода вознеслась вверх, очи к потолку, кому — и яростно осеняет себя двуперстием — доверю Русь? Кто довершит моё дело, истребит под корень бояр?

Ему! Он мой потомок, моя кровь.

Кто? Вождь?! Большой поднимает голову с подушек, напрягает лоб, это уже что-то новое.

Али не знал? Мой и орлицы моей Марии Темрюковны, черкешенки, царство ей небесное (снова размашисто крестится), едиnorodный сын, именем Димитрий, Димитрий Иоаннович, да не тот, не тот, что в Угличе... Не сгинул, не отравлен, а тайно укрылся в кавказских горах, и вот теперь... От Димитрия он... Да только не хватит, как я вижу, твёрдости, некому подсказать... давно пора, весь народ пал бы ниц перед ним.

Он и так пал ниц, заметил режиссёр.

Мало! Венчаться надо на царство, как положено. Шапку Мономаха, да не из рук патриарших, дрожащих рук, — самому на себя возложить. Как я в Первой серии. Тишина, всё спит, и Художник, которому осталось жить несколько минут, прислушивается к стуку посоха, к шаркающим, затихающим шагам.

## WORDS, WORDS, WORDS<sup>1</sup>

Пронеслись дожди, деревья стряхнули остатки листвы, и, как чудо, возможное только в этом городе, наступили тихие, тёплые, скопчески-опрятные дни. Как будто осень, отряхнувшись от мусора, оставленного некультурными постояльцами, по-стариковски наслаждалась покоем и тишиной в опустевших хоромах. Ни одного пожухлого листика не осталось на чисто выметенных дорожках Александровского сада, кругом ни души, тускло поблескивал песок, за оградой урчал и бормотал город, бледно-голубое небо стояло над византийскими башнями, и за стеной, мелькая между ласточкиными хвостами зубцов, разгуливал часовой.

Они уселись на скамейке, подошёл, хромая, палка под мышкой, с кульками мороженого Юра Иванов. Ира расстелила платочек, отколупнула серебряную обёртку и разложила брикеттики плавленого сыра. Юра вынул складной нож. Марик Пожарский глотал слюни, следил, как женщина нарежет батон.

Марик стоял, что-то дожёвывая, за его спиной виднелся купол дворца с повисшим флагом. Девушка и ветеран сидели по обе стороны от платка с крошками хлеба, комками сладкой бумаги, обрывками станиоля. Иванов извлёк из заднего кармана брюк шикарную коробку: чёрный джигит на фоне сине-серебряных гор. Ира собрала в кучку остатки еды, приподняла уголки платочка. Она держала платок в воздухе, словно приз. Марик поплёлся вытряхивать мусор в урну. Иванов помалкивал, сверкал стёклышками, важно курил, положив на трость негнущуюся ногу, держа длинную папиросу между средним и указательным пальцами.

«А мне?» — сказала она.

Он протянул ей раскрытую коробку. Ира выудила папиросу и вставила между губами. Большим пальцем Иванов крутил колёсико зажигалки. Кончился бензин. Его рука потянулась в карман за спичками.

---

<sup>1</sup> Слова, слова, слова... («Гамлет», II, 2).

«Ты, — пробормотал Марик, как-то вдруг заволновавшись. — Что-то было в этой игре опасное и щекочущее, что-то шевельнулось во тьме сознания в ту минуту, когда бледные губы Иры сжали картонный мундштук. — Ты того, н-не затягивайся... Дай-ка мне!»

Из осквернённых губ Иры папироса-фалл перешла к Марику, словно совершался некий обряд.

Он разглядывал нож, на костяной ручке выцарапано нерусское имя.

«Это что, — спросил он, с Казбеком в зубах, перхая и давясь от кашля, — трофей?..»

Он попробовал, положив ладонь на скамейку между собой и Ирой, колоть острием между растопыренными пальцами.

«Это мне один подарил», — сказал Иванов небрежно.

«Немец?»

«Какой немец. С мичманом махнулись. Он мне этот, я ему свой... Брось. Дай-ка нож».

Иванов стал быстро и ловко стучать ножом между пальцами.

С закрытыми глазами Ира подставила лицо бледно-жёлтому свету с небес, вздохнула:

«Мальчики, мне пора...»

«Образцовая зубрилка, вот с кого пример надо брать».

Юра спросил, постукивая ножом: «Ты всегда занимаешься в читалке?»

«Дома негде приткнуться...»

И в это время чья-то фигура показалась в конце аллеи. Человек остановился перед обелиском революционеров.

Ира — не поднимая ресниц:

«Почитай что-нибудь».

Марик, которому ужасно хотелось читать свои стихи, делал вид, что не слышит, изучал погасшую папиросу, швырнул прочь.

«Он поэт», — сказала Ира.

Иванов: «Слыхали».

«Между прочим, в клубе есть поэтическая студия».

«Знаю», — сказал Марик.

«Ты там выступал? Прочти что-нибудь новенькое».

«У меня нового ничего нет. Я вообще перестал писать».

«У поэтов это бывает», — заметил Юра.

«После Блока, — сказал Марик, — поэзия кончилась».

«Как это кончилась?»

«А вот так. Один Исаковский остался».

«А что, — сказал Юра, — поэт как поэт».

«Да ещё Симонов».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Ира: «Прочти то, что ты мне читал. Про зарю».

Марик уставился в пространство. Человек вдали не то стоял, не то приближался, как будто перебирал ногами на одном месте, и вдруг пропал.

Юра: «Ты, стало быть, единственный настоящий поэт».

«Возможно».

«Та-ак. Ну, валяй, послушаем единственного».

Марик вздохнул, огляделся, прочистил голос и начал читать, помогая себе кулаком.

«Н-небо! В-вывесит...»

При этом он слегка подвывал, как будто сидел в кувшине. Тёплый, тихий, бездыханный день, одинокий странник вдали на чисто выметенной аллее, бледный луч между безлистыми сучьями, стрелец на древней стене.

Небо вывесит утром цветную зарю.

Пусть на стыке больших осиянных дорог

Развевается платье твоё на ветру,

Развевается платье твоё на ветру,

Обнажая изваянность ног.

Я останусь стоять возле серой тоски

У скелета замученных дней,

Только пусть простучат об асфальт каблуки,

Только пусть простучат об асфальт каблуки,

Чтобы знать о дороге твоей<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина (1929–2002).

## ОБСУЖДЕНИЕ

«М-да, — сказал Иванов. — Ничего себе...»

Воцарилось молчание, оттого ли, что стихи произвели впечатление, или оттого, что не произвели никакого впечатления. Юра Иванов посвистывал, поглядывал по сторонам, свист перешёл в мурлыканье.

«Это что, немецкая песня?» — спросил Марик.

Ответа не было. Иванов мурлыкал. Потом громче:

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor!..

«Ну, и нечего здесь, — сказал Марик, — фашистские песни распевать».

«Её все пели, и там, и здесь. И немцы, и англичане, вообще все.

Wie einst Lili Marlen!

Wie einst Lili Marlen<sup>1</sup>.

Хотите, ещё спою.

O, Hedwig! O, Hedwig!

Die Nähmaschine geht nicht...»

«Ну, я пошёл», — объявил Марик.

«Куда? Сидеть».

«А чего тут делать...»

«Тебе неинтересно наше мнение?»

Поэт сделал неопределённый жест, пожал плечами.

«Слушайте, — проговорила Ира, — это ведь он...»

«Кто?»

«Бьлинкин».

«Тебе померещилось. Чего ему тут делать?»

«А я говорю, он. Эй!» — и она замахала рукой.

---

<sup>1</sup> Перед казармой, в свете фонаря... С тобой, Лили Марлен... («Лили Марлен», пер. И. Бродского.) Шлягер сороковых годов.

«Зализывает раны», — сказал Марик.

«У меня вот какой вопрос, — сказал, вальяжно развалившись на скамейке, Юра Иванов, — может быть, я неправильно понял...»

«Конечно, неправильно», — быстро сказала Ира, не сводя глаз с быстро удалявшегося человека.

«Между прочим, я ещё не спросил!»

«Ты лучше скажи своё мнение. Тебе понравилось?»

«М-м. Вообще-то ничего. Но отдельные выражения...»

«А мне нравится», — сказала она, встряхнув кудрями.

«Вот, например, как это понять...»

«Слушай, Иванов...» — сказал Марик.

«Ива́нов», — поправил Иванов.

«Хорошо, пусть будет Ива́нов».

Стихи висели в воздухе. Стихи, как осенние листья, упали в воду и медленно поплыли прочь. Ветеран восседал на краю скамейки, положив протез на палку. Поэт каменел посредине. Барышня помещалась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы не разобидеть Марика окончательно; непринуждённо и, однако, ни на мгновение не забывая о том, что она сидит как подобает, грудь слегка выставлена, коленки вместе, полуприкрытые краем платья между лапами слишком лёгкого пальто. Нужно было разрядить обстановку. Она проговорила:

«Мальчики, а это правда, что...?»

## ЭПОХА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ

Произошло разоблачение Былинкина. Кто-то обронил это слово, курящееся ядовитым дымом: «разоблачение».

Былинкин числился студентом русского отделения, но не имел времени для учёбы. Былинкин был знаменитой личностью, секретарём бюро, членом комитета, состоял в комиссиях, выступал на собраниях, был облечён множеством почётных обязанностей, дневал и ночевал на факультете; это был хилый мальчик двадцати пяти лет, с впалой грудью, с хохолком волос на темени, с планкой орденов на пиджаке, где-то в лесах Белоруссии сражался в партизанском отряде.

Специальностью Былинкина было разбирательство персональных дел, и можно сказать, что особым коварством судьбы было то, что он сам стал жертвой разбирательства. Что такое персональное дело, было понятно всем, хотя и держалось в тайне до того времени, когда всё было решено и оставалось лишь начертать: *Персональное дело такого-то*, третьим пунктом повестки дня. Тогда-то и наступал час, когда блистал Былинкин. Он вёл допрос, предлагал товарищам высказаться, подытоживал факты, вносил предложение: поставить на вид. Самое лёгкое наказание. Или: строгий выговор с занесением в личное дело, это уже серьёзней. Или: поставить перед райкомом вопрос об исключении из комсомола — что означало полный крах, костей не соберёшь, а может, ещё хуже.

Факультет помещался на четвёртом этаже Старого здания; миновав крохотную переднюю, попадали в коридор, по которому, должно быть, когда-то прохаживался Герцен под ручку с Огаревым. По которому шествовал юный, страшно серьёзный, в волнообразных кудрях и с немецким Гегелем под мышкой, Станкевич. Теперь по коридору пробегал с толстым портфелем член комитета и секретарь бюро Игорь Былинкин. Из коридора попадали в небольшой, прямоугольником, зал, за ним какой-то закуток, окно с низким подоконником, уборная, служившая курительной комнатой, местом отдохновения и раздумий о смысле жизни. Далее, повернув направо, ещё один коридор с окошечком кассы, где платили стипендию, с дверями парткома, профкома, секретариата, деканата... Но вернёмся в зал.

Рядом с расписанием лекций и семинарских занятий, на кнопках, на булавках, на чём попало висели объявления, кому-то назначали встречу, кто-то потерял очки (было дописано: «и голову»). Две других стены занимала склеенная из многих кусков факультетская стенная газета «Юность» с девизом-подзаголовком: «Шагай вперёд, комсомольское племя». После знамён, репортажей, патриотических и критических статей — отдел сатиры и юмора, многорукий, как Шива, фотоколлаж, и в каждой руке по портфелю, подпись

в стихах: *И куда ты ни пойдёшь, там Былинкина найдёшь.* Былинкина ожидало блестящее будущее. Как вдруг это случилось.

Марик заметил, что это уже не секрет.

Но ведь ещё неизвестно, сказала Ира.

Если не секрет, возразил Юра Иванов, зачем тогда спрашивать.

«Пока ещё не решено, — сказал он. — Будут разбирать. Сперва на бюро, потом в райкоме».

«Ты ведь тоже член бюро», — сказала Ира. Слегка поёрзав на скамейке, положила ногу на ногу — открылась коленка, обтянутая чулком, она укрыла её полами пальто. Она спросила:

«А как же курсовое?»

«Это в райкоме будут решать. Разрешат, значит, будет курсовое собрание».

«Закрытое?» — спросил Марик Пожарский, который думал, как всегда, и о том, что говорилось, и о чём-то далеком.

«Само собой».

«У вас всё закрытое, — съязвил Марик. — Все знают, и всё равно закрытое».

Былинкина перестали видеть в коридоре. Слух оброс подробностями. Слух распустился, как куст, осыпанный ядовитыми цветами. Якобы свалился с неба некто с костылём, из деканата был направлен в секретариат, на другой день явился в бюро комитета. Предъявил книжку: «В едином строю», очерки о боевых операциях партизанского подполья в Могилёве, автор Игорь Былинкин. Нам эта книга известна, сказали ему, ну и что? Он самый, возразил приезжий. Произошло некоторое замешательство, человек с костылём утверждал, что они с Игорем старые знакомые, можно сказать, родственники. Былинкин приехал в Агрыз с эвакуированными, был назначен заведующим клубом. В 44 году отбыл: вроде бы на родину, в Могилёв.

Когда отбыл?

Зимой, перед Новым годом.

Попрошу товарищей выйти, сказал секретарь партийного комитета. Значит, продолжал он, оставшись наедине с приезжим, вы утверждаете, что Былинкин якобы не был в партизанском отряде, а якобы находился все эти годы... я вас правильно понял?

Так точно, отвечал колченогий человек.

А вы знаете, спросил секретарь, что значит очернить имя советского патриота? Правильно, сказал с костылём, только это не моё дело, это вы уж сами разбирайтесь.

Разберёмся, сказал секретарь, а вы, собственно, кто такой? Приезжий отвечал, что он уже объяснял, кто он такой, и что они его целый год разыскивают. Кто — они? Семья, кто ж ещё, сказал приезжий. Что за семья и с какой целью, продолжал допытываться секретарь. С какой целью, переспросил приезжий и переложил костыль из правой руки в левую. А вот с такой целью: оставил девушку в деревне, с ребёнком. А я её брат. Вот мы все и приехали. Так-так, задумчиво проговорил секретарь. Все вместе. Уезжать не собираетесь? Приезжий развёл руками. Попрошу, сказал секретарь, пока о нашем разговоре никому не сообщать.

На другой день было созвано бюро.

«Вы инвалид Отечественной войны?» — спросил секретарь. Оказалось, нет, нога покалечена с детства. Поинтересовались документами: паспорт как паспорт. Прописан в селе Агрыз, Агрызского района Татарской АССР. Справка с места работы, предусмотрительно запасённая приезжим: военрук районной средней школы. Кто-то из присутствующих задал вопрос, а как же обстоит дело с орденами. Имелись в виду боевые награды Былинкина. Как обстоит дело, переспросил хромой. Да я вам на базаре сколько хочешь этих орденов куплю. Я думаю, вмешался секретарь комитета, нам сейчас незачем поднимать этот вопрос.

«Вот что, — сказал он, твёрдо глядя в глаза приезжему, — вы поезжайте спокойно домой, мы разберёмся и сделаем соответствующие выводы».

«Как же так...» — заволновался агрызский военрук.

«Поезжайте. Сколько сейчас ребёнку? Годика ещё нет? Ну, вот видите. Поезжайте. Мы всё выясним. Напишите за-

явление, сестра пусть тоже подпишет, и пришлётё нам... Обратный билет у вас есть? Надо будет, — сказал секретарь, — заказать товарищу такси. Вы где остановились?»

## ДИСПУТ НА РИСКОВАННУЮ ТЕМУ

Думается, сказал секретарь, выражу общее мнение товарищей... Инцидент не должен выходить за рамки. Есть мнение, что торопиться не следует.

Надо поднять личное дело, связаться с военкоматом.

Кто-то намекнул: а не поставить ли в известность... м-м? Холодок пронёсся над сидящими. Секретарь загадочно взглянул на спросившего, не сказал ни да ни нет и заключил своё выступление так:

«Сделаем всё что от нас зависит. После предварительного выяснения передадим на рассмотрение комитета комсомола. Думается, не надо перегибать палку. Если факты подтвердятся, наказать со всей строгостью, но подумать о сохранении ценного работника».

«На базаре, так и сказал?» — спросил Марик.

«Не знаю. Я там не был».

«Где?»

«На заседании».

«А у тебя, — спросил Марик, — тоже есть награды?»

«Есть», — мрачно ответил Иванов.

«Почему ты их не носишь?»

«Знаешь что, — сказал Иванов. — Пошёл ты знаешь куда...»

Он добавил:

«Ты что, не понимаешь, что такие вещи на открытое обсуждение не выносятся?»

«Ну, значит, меня туда не пустят. Да я и сам не пойду», — сказал Марик и встряхнул буйной головой.

«Почему это ты не пойдёшь? Если будет общее собрание, пойдёшь. Это твой долг».

«Какой ещё долг, я не комсомолец».

«Как это не комсомолец, все комсомольцы».

«А я нет».

«Тебе надо вступать», — сказала Ира.

«Зачем?»

«Надо», — сказала она внушительно.

Марик задрал голову. Обвёл надменным взором пространство, нагие деревья, буро-розовую стену и обелиск в честь великих революционеров.

«Так вот, я вам скажу. Марксизм-ленинизм приказал долго жить», — изрек он.

«Это как понимать?» — усмехнувшись, спросил Иванов.

«А вот так. Война доконала. Ты разве не заметил, что вдруг всё исчезло: классовая борьба, мировой пролетариат...»

«Не заметил. Не до этого было».

«Мальчики, перестаньте...»

«Вместо всего этого — великий русский народ».

«Вместо чего?»

«Вместо всей этой хреновины».

«Ну и что. Он действительно великий».

«Не просто великий, а самый великий. Всё изобрёл. Иностранцы только и делали, что воровали наши открытия. Своровали радио, своровали паровоз».

«При чём тут марксизм?»

«Вот именно что ни при чём. Всё ложь, — сказал Марик вдохновенно. — Ложь и неправда! И нечего притворяться».

«Что неправда?»

«Да всё».

Молчание, зеленые глаза Иры блуждали по окрестностям.

«Много ты понимаешь, — сказал Юрий Иванов. — Что ты всё заладил: правда, неправда... К твоему сведению, неправда...».

«Перестаньте вы, наконец...» — пробормотала она.

«Неправда — это не то же самое, что ложь».

«А что же это?»

«Необходимая версия действительности».

«Ага, вот как!»

«Да. Ты представляешь, что было бы, если бы тебе вот так, в открытую, лягнули: дескать, так, мол, и так, мы говорили одно, а на самом деле всё совсем другое?»

«Значит, по-твоему... по-твоему...» — и Марик злобно расхохотался.

«Что по-моему?»

Марик Пожарский умолк. Ира сидела, раскинув руки на спинке скамьи, с запрокинутым лицом, мерно, покойно дышала ее грудь, и пальто сползло с коленок. «Геббельс сказал: пропаганда — это власть!»

«Откуда ты это вычитал?»

«Вычитал».

«А ты знаешь, что за такие слова по головке не погладят?»

«За какие это слова?»

«За такие. За то, что ты цитируешь Геббельса. Вообще за всё это».

Марик прищурился, процедил:

«Хочешь на меня настучать, да?»

Иванов сложил руки на груди.

«Ну-ка повтори», — сказал он.

«Что повторить?»

«Повтори, что ты сказал. (Молчание). Сволочь сопливая. Молокосос».

Всё в той же позе, не шевелясь, Ира сидела, подняв к солнцу лицо с закрытыми глазами, и всё растворилось в этом мягком тепле, в жидком сиянии, спор иссяк, обе стороны почувствовали, что *не в этом дело*. Не то чтобы они усмотрели в этом вечное, неисправимое стремление женщины обесценить всякий спор, если он не имел отношения к «жизни». Просто само собой стало очевидно, что дело не в русском народе и не в марксизме-ленинизме. Все это были мыльные пузыри. А дело в том, что она сидит здесь, между ними, и это в тысячу раз важнее всех споров, обсуждений, разоблачений и персональных дел.

## ERITIS SICUT DEUS<sup>1</sup>. РАЗГОВОР АСМОДЕЯ С УЧЕНИКОМ

Слава и гордость факультета, без пяти минут академик, а точнее, член-корреспондент без надежды стать когда-нибудь просто членом, — профессор Сергей Иванович Данцигер, маленький, крупнолицый, румяный, с мощным мясистым носом, густыми белыми бровями, в усах и клиновидной бороде, в чёрной шёлковой шапочке, насаженной на седые кудри, профессор-картинка, профессор-вывеска, — дремал подле парторга и пробуждался, лишь когда председатель, скосив глаза на коллег, произносил: «Можете идти». Очередной абитуриент — это был фронтовик на протезе — вышел, девица в крепдешиновом платье, справившись со списком, выкликнула следующего, и в комнату вступил на нетвёрдых ногах вчерашний школьник, чуть ли не подросток, в курточке домашнего изготовления и в брючках, которые едва достигали лодыжек. Марик Пожарский окончил школу на один год раньше, чем полагалось, это была идея, поданная учителем Александром Моисеевичем, — подзубрить за лето и сдать осенью экзамены за десятый класс. Марик сдал на пятёрки, но его знания были эфемерны. Вдобавок они страдали односторонностью. Он не сумел ответить на вопрос, заданный секретарём парткома, его спросили ещё о чём-то, Марик барахтался и явно произвёл неблагоприятное впечатление. Но тут обнаружилось, что Сергей Иванович, подобно жирному парню Диккенса, не спит. Это обстоятельство решило судьбу Марика. Старец спросил, — вопрос, который он задавал всем, — что подвигло молодого человека избрать филологический факультет. И Марик по внезапному наитию продекламировал из «Фауста»:

Ich wünsche recht gelehrt zu werden  
Und möchte gern, was auf der Erden  
Und in dem Himmel ist, erfassen,  
Die Wissenschaft und die Natur<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> И будете, как Бог (знать добро и зло; *лат.*). Бытие, 3, 5.

На что окончательно пробудившийся профессор Данцигер живо отвечивал:

Da seid Ihr auf der rechten Spur<sup>2</sup>.

Наступила пауза, профессор вдохновенно взирал на ученика, затем, спохватившись, покосился на парторга. Секретарь парткома хранил непроницаемый вид, он ничего не понял и ждал, что скажет профессор. «Я думаю, что...» — неуверенно проговорил Сергей Иванович. «М-м?» — отозвался парторг. — «Я полагаю...» — «Да, да, конечно», — спохватившись, кивнул парторг, и, хотя ничего более определённого из его уст не последовало, секретарша поставила против фамилии Марика галочку, в конце концов Марик принадлежал к дефицитному мужскому полу, да и собеседование, в сущности, было формальностью.

Но где мы? Марик Пожарский обводит зачарованным взглядом келью учёного чернокнижника, небесную сферу, алхимическую посуду, голову Адама. Некто в рясе учёного доктора, скрыв лицо и голову с рожками под монашеским капюшоном, восседает на стуле с высокой спинкой, перед своим пультом. Славное имя профессора Данцигера, знаменитый университет...

## КАРТОФЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА

Имя — это судьба, и никто охотней не согласился бы с этим утверждением, чем сам профессор Данцигер. Среди щелчков и уколов, которым судьба награждала его время от времени, худшим унижением в эпоху необычайно возросшего патриотического самосознания была необходимость внушать начальственным лицам, что фамилия его отнюдь не связана с национальностью, о которой, как о дурной болезни, не полагалось упоминать. Правда, имя и отчество были безу-

---

<sup>1</sup> (Ученик): Желая стать настоящим учёным, объять всё, что есть на небе и на земле, постичь природу и все науки.

<sup>2</sup> (Мефистофель): В таком случае вы на верном пути. «Фауст», I.

пречны. Но, как известно, «эта нация» умеет маскироваться. В анкете профессора Данцигера стояло: русский. Тоже не довод. Наконец, с чисто филологической точки зрения, корневая часть этой фамилии, как, впрочем, и сомнительный суффикс, выглядела непристойно. Особенно теперь, когда бывший Данциг принадлежал Польше. Что же это получается: если не еврей, значит, немец?

У Сергея Ивановича были враги. Он знал, что у него есть враги. Завистники, дай им волю, не побрезгуют любой демагогией. Было чему завидовать. Импозантная внешность, солидная репутация в учёных кругах, имя на обложке общепризнанного учебника. Наконец, и, может быть, прежде всего, безукоризненная лояльность. Предыдущая глава могла подать повод к тому, чтобы заподозрить его в сношениях с духом отрицанья и сомненья. Профессор Данцигер ничего не отрицал и не подавал повода к тому, чтобы обвинить его в сомнениях. Лояльность требовала подтверждений; в те времена лояльность именовалась общественной работой. Работа состояла в том, что он неизменно заседал на торжественных собраниях. Его академическая ермолка возвышала сидящих за красным столом президиума в их собственных глазах, густой благородный голос Сергея Ивановича Данцигера с несколько старомодным прононсом придавал особый вес его словам, когда он выступал с сообщением о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с Вождём, «кто за то, чтобы принять...» — и первым поднимал руку, и то, что он был беспартийным, в глазах ответственных товарищей имело даже положительное значение.

Но в звуке этого имени содержался ещё один сомнительный обертон, присутствовало нечто в самом деле двусмысленное, имя напоминало о том, кого никто больше не помнил или, по крайней мере, помалкивал о том, что помнил. Был ещё один Данцигер, Фёдор Владимирович, которого, собственно говоря, надо было бы называть Вильгельмовичем, но откуда же у Сергея Ивановича оказалось другое отчество? Этот вопрос нужно поставить в связь с бурным и смутным временем, когда

изменилось всё, вплоть до названия страны. Давно сгинувший Федор Владимирович, увы, приходился Сергею Ивановичу родным братом. Брат был гордостью и проклятьем. Брат был знаменитый философ, мистик и рационалист, изобретатель христианства Третьего Завета, оппонент отца Павла Флоренского, архимандрита Серафима Высотского и других; оратор, спорщик, говорун, ценитель севрюжьей ухи в Религиозно-Философском обществе, пожиратель облитых маслом блинов с икоркой в ресторане Литературно-художественного кружка, истинное олицетворение мыслящей, избалованной и уже малость *gâtée*<sup>1</sup> России 1913 года. Полная противоположность скромному и осмотрительному младшему брату.

Грянула война, Сергей Иванович получил приват-доцентуру в Петербурге, переименованном в Петроград. Фёдор же Владимирович очутился на австрийском фронте и оттуда вновь привлёк внимание публики патриотическими «Письмами капитана артиллерии». В роковом Семнадцатом году, как видный член партии к.-д., вместе с Гучковым и Шульгиным по заданию Временного комитета Думы (все тогда было временным) Федор Владимирович прибыл во Псков и даже будто бы первым вошел в салон-вагон литерного поезда, чтобы уговорить царя отречься. В мемуарах, изданных в эмиграции, он об этом, правда, не упоминает. Достоверно известно, что, будучи министром в правительстве Керенского (министром чего? — это уже вовсе никто не помнил), Федор Владимирович после переворота едва не был казнён большевиками, в уцелевшем имении матери, в Пензенской губернии, сажал картошку и обдумывал обширное сочинение о грядущих судьбах русского народа. Дошли слухи о прогремевшем в Германии трактате философа Шпенглера, черный Гамаюн вещал гибель. Кто же тогда спасёт Европу — и христианство? — вопрошал Фёдор Владимирович. И отвечал, стаскивая в сених заляпанные глиной сапоги: Россия. *Ex Oriente lux!*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Подгнившей (*фр.*)

<sup>2</sup> Свет — с Востока! (*лат.*)

Это продолжалось недолго. Фёдор Владимирович послал в Москву статью для сборника — достойную отповедь гробокопателью фаустовской цивилизации. После этого кто-то приехал в картузе и куртке из жеребьячьей кожи. Данцигера-старшего вызывали в Москву, в Чека. Первое время, пять или шесть лет после изгнания из пределов отечества (с внятным предупреждением, что теперь уж, если вернётся, будет как пить дать расстрелян), он присылал письма из Германии; Сергей Иванович отвечал всё неохотней, наконец, связь прекратилась, брат сгинул, никакого брата не существовало, и профессор Данцигер — он был уже профессором — с законным правом мог писать в анкетах, что родственников за границей не имеет.

Как вдруг — сколько было этих «как вдруг» — случилось невозможное: Фёдор Владимирович воскрес. Получил разрешение вернуться. Годы изменили его не только внешне. Брат пересмотрел свои взгляды. Он согласился с Владимиром Соловьёвым в том, что своим величием Россия обязана жертвенной готовности русского народа отречься от самого себя. Он пришёл к выводу, что ненавистная узурпаторская власть была на самом деле Божьим перстом. Она называла себя революционной, но в действительности спасла Россию. Пускай она всё ещё клянётся Марксом и международным пролетариатом, — именно эта власть сберегла империю. К несчастью (ибо прошлого не зачеркнёшь), а вернее, к счастью, ему не разрешили прописку в столицах. Фёдор Владимирович не настаивал, отправился от греха подальше в Пензенскую область, в родные места. От усадьбы ничего не осталось. Несколько времени спустя дошли слухи, что он женился на деревенской бабе-колхознице, обитает в избе, полет картошку на приусадебном участке, дышит свежим воздухом и работает над сочинением о грядущих судьбах русского народа.

## ГРОМ ПОБЕДЫ

Оставим в покое мыслителя-пророка, эту старую рухлядь. Пора воротиться к нашим баранам, точнее, к одному из

них. Каков был духовный путь Марика Пожарского, какими тропами добрёл он до филологического факультета? Подобно тому, как однажды потух — к счастью, ненадолго — свет кремлёвских звёзд (многие помнят этот инцидент, породивший так много слухов), так однажды прервалось излучение Вождя, исчезло магнитное поле, и те, кто пережил эту катастрофу, помнили о ней всю жизнь, даже если война застала их детьми. Лето было уже в разгаре, стояли жаркие дни, сверстники Марика разъехались кто куда, сам он собирался с мамой и старшей сестрой на дачу, которую почему-то сняли в этом году очень поздно. Всё было готово, посреди комнаты стояла бельевая корзина, перевязанная верёвкой, стояли на полу керосинка и плетёная бутылка с керосином, швейная машина, стулья один на другом. Ждали отца, который должен был приехать с грузовиком.

Марику Пожарскому исполнилось двенадцать лет, по своим убеждениям он был марксистом-интернационалистом с анархическим уклоном. Услыхав из чёрного картонного рупора обращение Молотова к советскому народу, Марик испытал необычайное возбуждение, выбежал во двор, ему хотелось скакать, маршировать, ни о какой даче, конечно, не могло быть и речи. На улице из двойных раструбов с крыш, над водосточными трубами гремела праздничная музыка. *Малой кровью, могучим ударом!* Мужской хор, как строй бойцов, чеканил оду на слова поэта-орденоносца Василия Лебедева-Кумача. Так и произошло. Красная Армия перешла в наступление. Двинулись, лязгая гусеницами, танки, понеслись с гиком лихие тачанки, помчалась — сабли наголо — кавалерия. Распространился слух о том, что наши войска заняли Варшаву, Будапешт и Бухарест. В свою очередь германский пролетариат готовился встать грудью на защиту отечества всех трудящихся. Между тем дошло до сознания несуразное, непонятное: Вождь исчез. Поручил Молотову сообщить о вероломном нападении, это понятно, он занят; но прошла неделя, шла другая, Вождь не подавал признаков жизни, никто не знал, что с ним, где он, и стрелка вольтметра, напряжение поля с каждым днём съезжало от деления к делению, пока не приблизилось к нулю.

То, о чём говорилось вполголоса, реплики, полные недо-  
молвок, разговоры о тётке Мане, которая вновь пожалует в  
гости, что означало: ночью будет воздушная тревога, снова  
тревога, — как, почему, если врага успешно отогнали, — всё  
это не было предназначено для его ушей, но Марик обладал  
сверхъестественной интуицией подростка. Сидя на каменном  
полу, в толпе между перронами станции метро «Красные Во-  
рота», которая теперь превращена была в бомбоубежище,  
Марик Пожарский чуял губительное исчезновение магнитного  
поля, и в этом было всё дело. Именно этим исчезновением  
объяснялись необъяснимые неудачи. Их уже невозможно  
было скрывать. Государственные органы, которые до сих пор  
так успешно справлялись с задачей обрывать реальность в  
парадный мундир, теперь не успевали одолевать новые и не-  
слыханные трудности. Это было похоже на лихорадочное ла-  
тание вновь и вновь расползающейся одежды.

Вождь, наконец, очнулся, они услышали его глухой же-  
лудочный голос. Стало ясно то, что и так было ясно: немцы  
захватили Прибалтику, Белоруссию и, вероятно, много ещё  
чего. Вождь сказал правду или, по крайней мере, нечто близ-  
кое к правде. Вождь говорил правду даже тогда, когда он го-  
ворил неправду, а неправду, как постепенно выяснилось, он  
говорил чаще, чем правду... Он возглавил Комитет Оборона,  
и магнитное поле восстановилось. Победа была близка. Из  
закровов языка было добыто слово «ополчение», оно напо-  
минало о нашествии поляков, о Козьме Минине и князе Ди-  
митрии Пожарском. Отец записался добровольцем в ополче-  
ние — так делали всё. Рано утром отец проводил их на вокзал,  
в этот день ему предстояло явиться на призывной пункт. Ни-  
кто не узнал, что случилось с ополчением, куда оно делось, о  
нём не упоминали в сводках, его словно не было, и негде бы-  
ло наводить справки об отце, который никогда больше не  
возвратился.

Бывшая Каланчёвская, ныне Комсомольская площадь  
кишела народом, подъезжали автобусы и грузовики, выса-  
живались люди с узлами, чемоданами, швейными машина-  
ми, детскими стульчиками для каканья, из метро вывалива-

лись новые толпы, тротуар перед Казанским вокзалом, зал ожидания, лестницы, коридоры, перроны — всё было забито людьми и скарбом. Еле успели отыскать свою организацию, для неё было выделено два пульмана. В такт мерному стуку колёс качались, лёжа вповалку наверху и внизу, на помостах из необструганных досок и на полу посреди вагона, против задвижной двери, это было лучше, чем метаться от духоты на нарах, ночью стучала откинута наружу крышка узкого продолговатого люка, что-то несло навстречу, казалось, вагон то взбирается на гору, то стремительно катится вниз, непонятно было, куда ехали, на рассвете остановились. Лязгнули буфера. Женщины неловко, задом спускались с нар, шарили место, куда поставить ногу. Оттащили в сторону тяжёлую дверь. Состав стоял бок обок с пассажирским поездом, слепо отсвечивали окна, и казалось, что там никого нет. Позади него слышалось медленное постукивание, видно было между вагонами, как движутся платформы, товарные вагоны, заскрежетали колёса, звякнули буфера, это подошёл ещё один состав. Кое-где на сумеречном оловянном небе ещё горели огни, можно было различить вдали буквы на мачтах семафоров. Было прохладно. Хрустя сапогами, прошагал мимо вагона железнодорожник, спросили: что за станция? Оказалось, Пенза. Долго ли простоим? Час, не меньше, сказал человек.

Начали вылезать, прыгивать, умывались, поливая друг друга, поглядывали на медленно теплеющее небо без единого облачка, ожидался жаркий день, такой же, как все эти недели. Далеко на западе, на бледно-лиловом небе вспыхивали зарницы, пахло паленым, трава горела на корню. В те дни за спиной у катящейся, как океанский вал, вражеской армии уже осталось столько земли, что на ней можно было разместить ещё одну Германию и полдюжины государств в придачу; была применена новая тактика, артиллерия и пикирующие бомбардировщики концентрировались на узком участке фронта. Радисты в танках сообщали лётчикам координаты бомбовых ударов. Танки устремлялись в прорыв, следом бежала пехота в шлемах, похожих на ночные горшки, и окружала наших. Миллионы красноармейцев сдавались в

плен, и об этом тоже не знали. Слухи заменяли информацию, но сводки от Советского информбюро были не более правдоподобны, чем слухи.

В те дни, в другом таком же эшелоне эвакуированных Ира Игумнова ехала на юго-восток с матерью, тётёй, бабушкой и братом, которому через год предстояло получить повестку; никто не думал, не гадал, что через год война докатится и до юго-востока. Юра Иванов стал курсантом Высшего мореходного училища и не знал о существовании Иры и Марика, как они не знали ничего друг о друге. И в те же самые дни середины июля, в ранние утренние часы Марик Пожарский загадочным образом потерялся.

Марик отправился за кипячёной водой, пролез под колёсами пассажирского поезда и побежал в обход товарняка, который подошёл следом за ними. С двумя полными бидонами он выскочил из вокзального здания, пустынного и спокойного, совсем не то, что в Москве, взглянул на большие перронные часы и убедился, что времени остаётся ещё много. Он шёл по путям, обходил вагоны, перелезал через тормозные площадки, поглядывал на неподвижные крылья семафоров, на красные и жёлтые огни, раздумывал над проблемой, занимавшей его все последние недели; как вдруг оказалось, что пассажирского нет и товарного тоже нет; он бросился к другому составу, но это определённо был не их состав и не их вагон.

## РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО КОРНЯМИ ВВЕРХ

В те же июльские дни ехала неизвестным маршрутом, с детским садом и школой имени Карла Либкнехта, с пионерским горном, барабаном и знаменем, с директором, завхозом, учителями, с бочонком селёдки, с упакованными наспех чемоданами, тринадцатилетняя девочка Соня Вицорек, иначе Сузанна Антония, по матери — фон Ирш цу Зольдау.

Здесь невозможно описать в подробностях генеалогию этой семьи; любознательный читатель может справиться в Готском альманахе.

Замок графов Ирш, где в ясные ночи свирепый одноногий старик взбирался на башню, прыгая с костылем по каменным ступеням, стоял на горе посреди леса; внизу, в долине, лежала деревенька, дюжина дворов, край был бедный и малолюдный; когда стало известно, что неприятельский отряд рыщет по окрестностям в поисках провианта и женщин, звездочёт приготовился к обороне с кучкой вооружённых слуг, но шведы так и не разыскали замок. Бавария была разорена, города сдавались один за другим, Валленштейн спешил на помощь из Богемии, но прежде чем он перешёл границу, Кёцтинг был сожжён дотла ордами протестантов, и смуглые, черноусые хорваты, закалённые в сражениях, не могли сдержать слёз, увидев, что осталось от города. Повсюду кругом пылали пожары, и толпы разного сброда скитались по дорогам и заброшенным полям, а сверху, с лесистых холмов, на них налетали на всём скаку одичавшие рыцари-громилы, каких прежде не видели в этом краю, и грабили всех, кого ещё можно было ограбить. Генералиссимус Тилли умер в Ингольштадте после того, как шведский рейтар пробил ему нагрудник копьём. Граф Ирш-младший, единственный сын, погиб при осаде Аугсбурга известие принёс полумёртвый гонец, кто-то видел молодого Ирша лежащим на поле боя без чувств. Старик бодрствовал в башне, разглядывал чертёж и вперялся в зрительную трубу, искал ответа: что с сыном? Случилось чудо, упрямство победило, что-то сдвинулось в небесном механизме. Сатурн, вестник гибели, увял в лучах благодатного Юпитера. Ирш выздоровел от смертельной раны. Пришла другая весть, о поражении под Лейпцигом, — фортуна вновь отвратила лик от защитников апостольской веры. Но зато, к их радости, северный король пал под пулями мушкетёров. Вернувшись в замок, молодой Ирш нашёл старика отца при смерти, наследственное владение неразграбленным, обсерваторию в образцовом порядке.

Знай он о том, что его потомки впадут в лютерову ересь — пфальцская и баварская ветви угаснут в смене столетий, уцелеет единственная ветвь рода, балтийская, — знай он об этом, он проклял бы своё семя. Однако планеты не оставили своим

покровительством последнего из его потомков. Последней была женщина. На щите графов Ирш был изображен зубр, склонивший рогатую голову. Упрямство Аннелизе Ирш было семейной чертой. Любовь, а затем и замужество Аннелизе единодушно осудила вся родня, отчасти из аристократических предрассудков, но главным образом из-за морального облика и политических убеждений Отто Вицорека. Трудно сказать, что сильнее вскружило голову Аннелизе: революционная идея или красота Отто. Он был строен, голубоглаз, заносчив, как и подобало сыну рабочего, вдобавок еврей; дерзко нес свою голову с огненно-рыжей шевелюрой; в семнадцать лет примкнул к движению нудистов, этих апостолов разврата, позировал на пляжах в окружении девиц, изображавших наяд (есть фотографии), получил премию на конкурсе мужской красоты, играл на флейте и барабане, слагал баллады (говорят, ему подражал молодой Брехт), бедствовал, кое-как окончил на казённый кошт военно-медицинскую академию кайзера Вильгельма в Берлине. Медицина не была его призванием. Эволюцию его взглядов можно кратко охарактеризовать как замену одних фантомов другими. Отто Вицорек был батальонным врачом на Западном фронте, председателем солдатского комитета в Дрездене, а в пору знакомства с девушкой из стана эксплуататоров — членом центрального совета рабочих и солдатских депутатов. Дружил с Фридрихом Вольфом, был на «ты» с самим товарищем Тельманом.

В предпоследний день февраля тридцать третьего года, в Берлине какой-то голландец по имени Маринус ван дер Люббе, полуголый, обливаясь потом, выбежал из горящего рейхстага с воплем: «Протестую!», его сочли за поджигателя. История шлёпнулась в грязь; в семействе Ирш переворот был встречен сочувственно. Аннелизе возвратилась в фамильное поместье, в семи километрах от Мариенбурга в Восточной Пруссии, вернула имя и титул; с Вицорекком было покончено, Аннелизе оставила его так же решительно, как некогда завладела им. Вицорек бежал. Через Базель, Вену и Варшаву с новой подругой и дочерью добрался до столицы мирового пролетариата, был помещён в гостиницу «Люкс» на улице

Горького, 36, и получил в Отделе виз и разрешений Главного управления НКВД бессрочное право жительства в стране как ветеран рабочего движения, революционный журналист и подпольщик. Через три года подали на гражданство. Им дали квартиру из двух комнат с ванной и кухней в Нижнекисловском переулке, в доме, где поселились Вольф с женой и мальчиками, поэт и партийный функционер Эрих Куявек, Фишеры, Лотар Влох и другие; Сузанна Антония стала Соней.

Зимой последнего года войны пароход с беженцами из Восточной Пруссии был атакован русской подводной лодкой. В темноте из-за сильной качки к переполненному баркасу, за который всё ещё цеплялись руки тонущих в воде, невозможно было приблизиться. Всё же удалось кое-как перетащить людей в шлюпки спасательного судна. Аннелизе фон Ирш цу Зольдау была крупная рыхлая женщина лет пятидесяти; когда два или три месяца спустя она добралась до Аугсбурга к дальней родне, одежда висела на ней лохмотьями; никакой родни не оказалось, во второй раз после Тридцатилетней войны город был уничтожен. Аннелизе чуть не умерла от голода, но, к счастью, сумела списаться с Сузанной Антонией. Дочь находилась в советской зоне.

## РАЗЛОМЫ

Лязг буферов прокатился по всему составу, вагон дрогнул, медленно повернулись колёса, из приотворённой двери протянулось несколько рук, Марик бежал за вагоном с бидонами, бросай, бросай — кричали ему, втащили в вагон, поезд гремел на стыках, путаница рельс, семафоры, пакгаузы — всё исчезло. Поезд шел по насыпи, внизу тянулся кустарник, блестела вода. Здесь тоже были эвакуированные, женщины и дети, русская речь мешалась с нерусской, подросток сидел на краешке нар, ел бутерброд и пил чай из эмалированной кружки. Состоялось знакомство. Девушка лет двадцати ехала с отцом, высоким, тощим человеком с полуседыми всклокоченными волосами, с провалившимся лицом, между собой

они говорили по-литовски и по-еврейски. Был ещё один сын, мальчик такого же возраста, и звали его так же; вот как, сказал отец, и, вероятно, это обстоятельство — одно и то же имя — имело какое-то значение. Этот Марк находился в пионерском лагере в Паланге, куда уже невозможно было добраться, и никаких вестей, и неизвестно, успеют ли их вывезти. Большинство родителей, по-видимому, вовсе не собирались в эвакуацию, но у отца с дочерью не оставалось другого выхода. В Каунасе на вокзале так и не дождались автобуса с детьми, возможно, пионерлагерь успел эвакуироваться раньше; вдруг разнеслось известие, что немцы уже в городе. Из этих отрывочных рассказов Марик, не тот, кто пропал, а тот, кто сидел на краешке нар и вот уже третьи сутки ехал с незнакомыми людьми в неизвестном направлении, сделал вывод, что евреи были настоящими советскими патриотами, а литовцы предателями.

Прошёл слух, что едут в Уфу. Никто в вагоне не знал, где это находится, и Марику пришлось объяснять. До Уфы, впрочем, не доехали. Как в Средние века, это было время грозных чудес. На речном вокзале, где ждали парохода, чтобы плыть дальше по Белой, к Марику подбежала, вся в слезах, мать, она ждала здесь уже третьи сутки. Поздно ночью погрузились на баржу, лежали под звездами, пока парходик где-то впереди шлепал колесом по воде; взошло солнце, мальчик спал, несколько времени спустя он сидел, протирая глаза, что-то жевал, люди вокруг лежали, укрытые чем попало, мать не отпускала его ни на шаг; вечером причалили к дебаркадеру. Всё смешалось в голове у Марика, летняя ночь и огни на чёрной воде, толпа брела с пристани наверх, это было большое село, разместились в школе и прожили в физкультурном зале на полу, среди кульков, узлов, чемоданов, две или три недели.

Так началась новая жизнь, итоги которой, по прошествии трёх лет, были плачевны. Существует тайная связь между кризисом плоти и крушением веры в Бога; политическое мировоззрение Марика Пожарского (как и всех его сверстников) было сопоставимо с религиозной верой.

Был один случай, была такая деревенская девчонка, го-лоногое существо в коротком платьице, теперь уже не вспомнишь, как её звали; вдвоём шли по пыльному тракту, лес стеной стоял на холмах по правую руку, слева сверкала река. А вот хочешь, подмигнула она, покажу кое-что. Два дерева, как одно, стерегли круто поднимающийся луг. Два дерева обвилились стволами одно вокруг другого, словно две огромные змеи.

«Гитлер со Сталиным борется!» — с каким-то бессмысленным восторгом объявила она. И всё это вместе, белая пыль дороги, в которую так приятно было погружать босые ступни, опушка, залитая солнцем, и хихиканье, дурацкий смех, в котором почудилось ожидание, почудился вызов, и самое главное — неслыханное, невозможное сравнение великого друга и вождя с кровожадным фашистским ублюдком, — болезненно отпечаталось в душе у Марика: всякий раз при воспоминании об этой истории, которую историей-то не назовёшь, об этой девчонке с бугорками груди, ему казалось, что он упустил что-то, надо было обнять её, как Гитлер обнял Сталина. Вся жизнь вокруг была не такой, какой ей полагалось быть, какую представлял себе никогда не живший в деревне подросток, и далекая война шла не так, как полагалось, что, впрочем, было уже не новостью, и всё-таки невозможно было отделаться от вопроса — как же это так. Как это могло случиться, ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее! Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, а где теперь этот товарищ Ворошилов? Где лихой Будённый, шашки наголо, где Лебедев-Кумач, куда вообще всё подевалось? Куда делся германский пролетариат, который должен был грудью встать на защиту первого в мире... ах, о чём тут говорить, никакого германского пролетариата не было в помине, а были фрицы. Пламенный патриотизм подростка подвергся мучительному испытанию, — не то чтобы зашатался, но всё же... Как все вокруг, Марик жадно ловил известия об успехах, радио изо дня в день рассказывало о подвигах, враг нёс потери, непонятно было, как он может всё ещё сопротивляться, и вдруг как-то само собой оказалось, словно и не было новостью, что немцы давно уже взяли Киев, вдруг очутились в Харькове.

Вновь открытие поразило Марика: то, что происходило, оставалось тайной и, очевидно, стыдной тайной, иначе зачем её было скрывать? Хуже всего было то, что Марик перестал понимать Вождя, перестал понимать смысл великой максимы: Вождь говорит правду, даже если приходится говорить неправду. Не означало ли это, что Вождь говорит неправду, даже когда он говорит правду? Говорит ли он вообще правду? Давно прошла первая зима в эвакуации, новое лето клонилось к закату, и детской дребеденью казалось всё, чем он увлекался год тому назад, появились другие книжки, другие занятия, пришло новое знание, подобно знанию о чарующем эксперименте с отростком; но что-то ушло вместе с умирающим детством, ушла вера. Что в этом странного? Живи он на этом свете подольше, он понял бы, что утрата веры в Вождя не зря была схожа с утратой веры в Бога, подозрительно напоминала атеистическое прозрение, каким его переживала юность прежних поколений. Это было не что иное, как утрата метафизической уверенности в том, что мир устроен разумно. Болезнь треснувшего зеркала. Да, ты стоял перед зеркалом, расколовшимся на много кусочков, которые, однако, еще держались в раме, — упаси Бог дотрагиваться до них. И тут уже дело шло о чем-то большем, чем о крушении политической веры; речь шла о Зеркале мира, которое шмякнул оземь безответственный тролль. Поколение, шедшее следом за Мариком, было обречено жить в мире осколков.

## ФАРАОН

Губительную роль сыграла и дружба с Александром Моисеевичем. С тем самым — высоким, костлявым, с провалившимися щеками, который крикнул Марику, бросай свои бидоны, и своими длинными руками втащил его, как клещами, в вагон; с вечно озабоченным и вечно что-то теряющим, потерявшим и своего сына. Александр Моисеевич преподавал в школе иностранный язык, обитал с дочерью в комнате у хозяйки, на самом краю села, и встречал подростка, когда тот, взойдя по скрипучей лесенке в мезонин, сту-

чался в дверь, приветствием на языке врага. Учитель сидел в расстёгнутой жилетке, в широких бесформенных штанах на подтяжках, заложив ногу за ногу, боком к столу, покрытому клеёнкой, пил коричневый морковный чай, излагал последнюю сводку от Советского информбюро. Keine Bewegung an allen Fronten<sup>1</sup>. После чего разговор, лучше сказать, монолог учителя, продолжался по-русски. Александр Моисеевич жил до войны в Европе, по его словам, Берлин был самым благоустроенным городом. Германия — самая цивилизованная страна. Но этот народ охвачен безумием, он продан дьяволу, и ему готовится страшное возмездие, его ждёт судьба многочисленных народов и царств, которые были врагами евреев, а где теперь эти царства? Подобно войску фараона, он захлебнётся; подобно филистимлянам и амалекитянам, исчезнет с лица земли. Но... (воздев косматые брови, качая головой, на которой дыбом стояли серые волосы), но, если уж говорить правду, то, конечно, и *этот* не лучше. Два монстра схватились друг с другом.

«Да, но ведь ...» — лепетал подросток.

Учитель по-прежнему качал головой.

«А кстати, — спохватывался Александр Моисеевич, словно об этом ещё не было речи, — что нового на театре военных действий?»

Теперь Марик должен был повторить по-немецки последние известия. Учитель рассеянно кивал, поправляя произношение.

«Вот видите», — сказал подросток.

«Что я должен видеть?»

«Это сделаем мы».

«Кто это — мы?»

«Советский Союз, — сказал Марик, — победит фашистскую чуму».

«Kein Zweifel<sup>2</sup>. Будем, по крайней мере, надеяться. Только неизвестно, что лучше. То есть, само собой разумеется, что с Гитлером надо покончить, иначе он покончит со всеми на-

---

<sup>1</sup> На всех фронтах — затишье (нем.).

<sup>2</sup> Без сомнения (нем.).

ми... Не только с евреями! — сказал Александр Моисеевич, подняв палец. — И все-таки неизвестно, кто из них опаснее... О-хо-хо...»

Он снова закинул ногу за ногу, сложил руки с переплетёнными пальцами, нижняя часть живота, несмотря на худобу, выступала, спина ещё больше согнулась.

«Неизвестно, что лучше, — повторил он, — и кто лучше... и мы ещё не знаем, кто воцарится в Европе, когда Гитлер будет разгромлен...»

«Произойдёт революция. После первой Мировой войны произошла революция в России, а после этой произойдёт в остальных странах».

«Ага. Вот как!» — заметил учитель.

«А почему же тогда, — возразил подросток запальчиво, это было продолжение предыдущих дискуссий, — прогрессивные силы всего мира...»

«Какие эти силы, позвольте спросить?»

«Например, Ромен Роллан», — сказал мальчик, только что прочитавший «ЖанаКристофа», толстую книгу, в которой самое сильное впечатление произвела глава о знакомстве с Адой.

«Я такого не знаю», — отрезал учитель.

Полногрудая Ада сидела на дереве, когда мимо проходил Жан-Кристоф, и не знала, как слезть. Спрыгнула в объятия Кристофа, а дальше всё происходит как бы само собой, они приходят в деревенскую гостиницу, *опираясь на руку Кристофа, Ада потребовала комнату*. И... и... погас мерцающий свет в саду, погасло всё. Кровать, как лодка...

«Кровавый деспот. Выродок», — бормотал тощий человек, и мальчик спохватывался, понимал, о ком идёт речь, терялся, ужасался и восторгался.

## ДИВЕРТИСМЕНТ. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Марик Пожарский был блондином, светловолосые молодые люди выглядят, к своему огорчению, ещё моложе. Двоюродный брат Марика по имени Владислав был брюнетом.

Бритые щёки и подбородок были серо-лилового оттенка, и это придавало Владиславу мужественный вид, хотя он был лишь на год старше Марика. Владислав устроил концерт Вертинского. Концерт состоялся в Новом здании, под вечер, в пустой 66-й аудитории, той самой аудитории на втором этаже, где некогда вахтенный офицер с негнущейся ногой предстал перед приёмной комиссией. Зрители — их было трое — заняли места в первом ряду.

Вертинский явился, за неимением фрака, в длинном, слишком просторном пиджаке небесного цвета с неестественно широкими накладными плечами, с оранжевым бантом на шее и антикварной розой в петлице. Несмотря на свою мужественность и знание женщин, Владислав был небольшого роста и довольно хилого строения, мало напоминал прославленного артиста, который, по рассказам, был высок и статен. Но Владислав недаром учился в студии театра имени Вахтангова. Раздались жидкие хлопки; Владислав раскланялся. Он был одновременно и конферансье, и аккомпаниатором Брехесом, и самим маэстро, объявлял номера, бил растопыренными пальцами по воображаемой клавиатуре и пособачьи поглядывал на исполнителя, и он же балансировал на цыпочках, с выгнутой шеей, крутил чем-то перед грудью, вибрировал попкой и распевал тонюсеньким голоском: «Я маленькая балерина! Всегда мила, всегда нема!»

Затем сцена менялась, гасли огни и возгорались душистые светильники, Брехес самозабвенно брал аккорды, Владислав пел, молитвенно сложив руки, — пел завлекательным, полуночным, сладострастным баритоном, не спуская глаз с Иры:

Я безумно боюсь. Золотистого плена  
Ваших медно-змеиных волос.  
Я люблю ваше тонкое имя — Ирэна!  
И следы ваших слёз!

А кончилось всё тем, что Владислав, возбуждённый произведённым эффектом, распустив рывком, истинно артисти-

ческим жестом свой оранжевый бант, с ходу пригласил Иру и Марика к себе на дачу, «выпьем, потанцуем, нет, я серьёзно», — говорил он, хотя казалось, что он всё ещё играет роль; Ира смеялась несколько преувеличенно, закидывая голову, словно киноартистка, не сказала ни да, ни нет, Иванов сидел на краю первого ряда, мрачный, как туча, положив ногу на палку. Владислав удалился, помахал рукой, не оборачиваясь, должно быть, отправился на вечернюю репетицию, на свидание с какой-нибудь актрисулей; и стало обидно за свою убогую жизнь, рутину занятий, стыдно за школярское усердие; другая жизнь, лёгкая, беспорядочно-упоительная, была рядом, огни города, раскалённые вывески ресторанов, бессонные ночи, таинственные любовные похождения. На другой день вечером в сумерках, в седьмом часу явились на вокзал. Шёл густой мокрый снег, смеясь, отряхивались, на грязном полу стояли лужи, валялись окурки. Кругом теснился народ с мешками, кошелками, деревянными чемоданами, инвалиды на самодельных тележках с роликами, голос по радио каркал неразборчивые слова.

Наконец, явился Владислав, весь в снегу, в облезлом тулупчике, обмотанный башлыком, что придавало ему бабий вид, бормотал что-то и поглядывал по сторонам, Ира смотрела на него растерянно, да и сам Владислав как будто ждал, что они сейчас скажут: мы передумали.

Она сказала, что не поедет, пришла, чтобы не подводить, сказать, что сегодня не может. Да и поздно уже. Как это поздно, встряхнулся Владислав, через полчаса будем на месте. Через полчаса поезд, битком набитый молчаливыми, угрюмыми людьми, всё ещё нёсся мимо тёмных заснеженных перелесков и слабо освещённых платформ. На какой-то станции сошло много народу. Становилось свободнее, по проходу между ногами сидящих, отталкиваясь деревяшками, ехали безногие на колёсиках, Владислав озабоченно поглядывал в окно, опустевший вагон гремел и шатался. Наконец, вылезли, было сыро, холодно, Ира в своих ботиках то и дело проваливалась в снег. Шли через поле под огромным сиреневым небом, навстречу слепым огонькам. Время от времени Влади-

слав останавливался, похоже, плохо ориентировался. Оказалось, что дача не его, а дядина. Родители обретались где-то за границей, а дядя приезжал на дачу только летом.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

«А вот и мы!» — вскричал Владислав, распахнув дверь с террасы. С потолка свисала люстра, испускавшая жёлтый, точно керосиновый, свет, в комнате стоял тусклый туман, оттого ли, что было холодно, или из-за того, что накурили. Ира пыталась стянуть с ноги мокрый ботик, кто-то выскочил из стола, картинно встал на колени и стащил ботик вместе с туфлей. Ира шевелила пальцами в намокшем чулке. Опоздавшим был назначен штрафной кубок Большого Орла. Марик Пожарский храбро осушил гранёный стакан с чем-то омерзительным, «вó даёт», сказал кто-то. Марик оглядывал собрание блестящими сумасшедшими глазами. «Закусить, закусить», — раздались покровительственные голоса, чья-то рука посадила его, шлепнув по плечу, за стол, и Марик, который не ел с утра, вонзил зубы в бутерброд, густо намазанный — трудно поверить — красной икрой. Вообще пиршественный стол являл собой смесь нищеты и роскоши.

Владислав подхватил под руки двух девиц, исчез в соседней комнате, из открытой двери донёсся звук патефона. Марик перебирал присутствующих победоносно-осоловелым взглядом, искал Иру. Она сидела в пальто, накинутом на плечи, на другом конце стола, и двое каких-то наперебой угощали её, один с волнообразной, наподобие шестимесячной завивки, шевелюрой, тот, который подбежал снимать ботик, другой, плосколицый, страшный, редкозубый, с перебитым носом. Больше кавалеров, кажется, не было. Марик исполнился презрением, встал и нетвёрдым шагом вышел в другую комнату.

Там в полусвете помещался широкий продавленный диван, на столике у изголовья горела лампочка. Великий певец исполнял «В бананово-лимонном Сингапуре», но это был не Владислав, это был сам Вертинский. Впрочем, и па-

тефон оказался не патефоном. В углу возле столика на полу сиял и лучился зелёный цветок из оргстекла. Перед ящиком, похожим на гробницу, сидела на корточках одна из девиц, подкручивала ручку завода и ставила пластинки. Пёстрое крепдешиновое платье лежало на её коленках и обрисовало зад. Владислав танцевал.

Он раскачивался вместе с партнёршей, левой рукой прижав её к своей груди, к просторному, чуть не доходящему до колен лазоревому пиджаку с широкими ватными плечами, в котором прятался его тщедушный торс: с полузакрытыми глазами, отдавшись томным, раздражающе-сладострастным и бессильным звукам, уверенно правя далеко отставленной правой рукой, танцевал стильно, нагибаясь над падающей навзничь и снова выпрямляясь, и внезапным рывком вращая её вокруг глубоко внедрившейся в пах ноги. Граммофон исполнил, вслед за Сингапуром, «Я безумно боюсь золотистого плена», «Говорят, что назначена свадьба» и ещё несколько произведений в этом роде, появились другие танцующие, затем кто-то потушил лампу, свет проникал в комнату через полуоткрытую дверь из столовой. Умолкший раструб загадочно мерцал в полутьме. Гости полулежали на диване в обнимку, кто-то сидел на полу, слышались вздохи, смешки, должно было начаться самое главное.

Несколько времени спустя Владислав оказался рядом с Мариком, стол с остатками пира был отодвинут, это было уже в первой комнате, выходявшей на террасу, мистический свет струился по стенам, по лицам, граммофон ожил, неизвестно, что происходило в комнате за дверью, а здесь они оба смотрели на пышноволового завитого отрока, который извивался, танцую с Ирой. Она старалась поспеть за кавалером, следила за его ногами в щёгольских узконосых туфлях, танец происходил почти на одном месте. «Ба-альшой талант», — процедил Владислав. «Он тоже в вашей студии?» — спросил, с трудом ворочая языком, Марик. В это время пышногривый, отогнувшись назад, выставив хилые бёдра, старался повалить Иру на себя, а она упиралась рукой ему в грудь.

«Ты как насчёт того-сего? — спросил Владислав. — Вон с той», — он показал кивком на высокую в крепдешиновом платье, стоящую в дверях. Марик Пожарский подумал, что вот он сейчас подойдёт к этой дылде и отомстит Ире, и уже было двинулся вразвалочку, с развязной миной к рослой, выше его, девице, чтобы спросить, как полагается: «Вы танцуете?..» — но каким-то образом вместо неё оказался перед Ирой и её женственно-томным партнёром, оба тяжело дышали. «Ты, — сказал Марик, — ты вот что. Ты пойди отдохни...» — «А я не устал», — возразил пышноволосый. «Нам поговорить надо», — сказал Марик. Он попытался отеснить Иру от партнёра.

«Э, э, э, что за шум. В чём дело?» — услышал он сзади барственный, гундосящий голос, обернулся и увидел тупорылого с продавленным носом. «А это вас не касается», — хотел сказать Марик, а может быть, сказал и вместо ответа получил удар в челюсть. Удар был вполсилы, Марик схватился за щеку. «Вы что это, — воскликнула Ира, — вы что делаете!» — «А ну вали отсюда, — сказал тупорылый, в упор глядя на Марика. — Кто его привёл, ты?» — спросил он и повернул голову к Владиславу. Тот пожал плечами, замотал головой. «Значит, сам притащился», — констатировал тупорылый. В эту минуту кто-то показался на террасе. Новый гость вошёл в комнату. Вошёл, опираясь на палку, Юрий Иванов, снег лежал на плечах и обшлагах его перешитой шинели и на меховой шапке. Он снял и отряхнул шапку, снял запотевшее пенсне, снова нацепил и двинулся к тупорылому. «Ну-ка, подвинься», — сказал он. «А ты кто такой», — лениво спросил с перебитым носом. «Подвинься, говорю», — проскрипел Иванов.

«Это кто же это к нам пришёл, бабоньки!» — радостно пропел-прогундосил редкозубый, внушительно прочистил голос, дернулся, словно его ударило током, развернулся — Иванов поднял ладонь, чтобы защититься, тупорылый толкнул его кулаком под дых. Иванов, потеряв равновесие, полетел навзничь, его подхватили, девочки завизжали, раздались голоса: «Инвалида бить, это уж нечестно...» — «А пуцай не лезет». Пуцай — было сказано, вероятно, для шика.

«Так», — сказал Иванов, тяжело поднимаясь и укрепляя пенсне на носу. Палка лежала на полу. Иванов опирался о край стола. Все увидели, что он пьян. Тупорылый смотрел на него, ослабившись. «Та-ак, — медленно повторил Иванов. — Ну-к, подойди». — «Что, ещё захотел? — спросил тупорылый. — Воин хуев», — добавил он. Иванов, не оборачиваясь, схватил что-то со стола, размахнулся и швырнул бутылку в гундосого. Девы бросились к нему, тупорылый стоял, пошатываясь, посреди комнаты и, по-видимому, плохо соображал, что произошло. Кровь и водка текли у него со лба. Граммофон пел из соседней комнаты кисло-сладким голосом Клавдии Шульженко: «Говорят, что назначена свадьба. С капитаном бригаантины Родрыгой».

## ПРИНЦИП КРАЕУГОЛЬНОЙ БЕЗЗАБОТНОСТИ

В эти годы писатель, которому суждено было перед смертью изведать всемирную славу, сидя на своей даче в посёлке для государственных писателей, в тепле и тишине, сочинял роман об эпохе высшей и краеугольной беззаботности. Так называл он чувство, присущее людям той эпохи<sup>1</sup>.

Это была допотопная эпоха. Ещё были живы те, кто о ней помнил. Потоп смыл всё. Беззаботность осталась.

Беззаботность как принцип жизни, как опора существования вновь доказала свою почти сверхъестественную живучесть. Она заменила умершую религию. Беззаботность, другое имя которой — фатализм, приняла безотчётный, нерассуждающий, простой житейский вид. Ни революция, ни война не смогли истребить абсурдную и спасительную уверенность в том, что всё образуется. Все утрясётся. Не завтра, так послезавтра, не через год, так когда-нибудь. Подождём, потерпим. Где наша не пропадала! Ничего нет, и достать негде, но что-нибудь да найдётся. Нет продуктов, зато есть

---

<sup>1</sup> «Доктор Живаго», I, 7.

карточки. Истрепалась одежда, однако носить можно. По-прежнему влюблённые находят друг друга, хотя негде уединиться. Каким-то образом рождаются дети. Ходят трамваи, народ гроздьями висит на подножках, как-нибудь найдём место поставить ногу, местечко на поручне, чтобы уцепиться. Как-нибудь доедем. Тряхнёт на повороте, так что шапка слетит с головы; кто-нибудь поднимет, подбежит и протянет. Ублюдок с лицом, по которому словно проехали на студебекере, собьёт тебя с ног — ты поднимешься. И мы ещё поглядим, кто кого.

Играет музыка, толпы движутся по тротуарам. В двухсветном коктейль-холле на улице Горького, шикарно именуемом «кок», тонюсенькая рюмочка, «Полярный со сливками», стоит столько, сколько не заработаешь за год, а всё же от посетителей нет отбоя, и к вечеру выстраивается очередь на тротуаре. Девчонки в юбочках, в фильдеперсовых чулочках прогуливаются от Охотного ряда до Телеграфа и назад, топчутся перед гостиницей «Метрополь», поглядывая, не показалась ли милицейская фуражка. Играет музыка. Ничего нет, карточки не отовариваются, но все можно достать по благу. Конечно, за исключением того, чего достать невозможно. Но и того, чего не достанешь, можно добыть, если уметь; всё можно. Можно купить коверкотовый костюм на Тишинском рынке, принести домой, развернуть и увидеть вместо костюма обрезки, тряпье. Можно продать часы, которые не ходят и никогда не ходили, и купить такие же. Можно стащить на задворках старый ящик, найти местечко на том же Тишинском рынке, вошедшем в историю и фольклор, разложить макулатуру; потрясая истрёпанной книжкой, зарорать во всю мочь: «А вот История маленького лорда Фаунтлероя!» Можно договориться, и тебе достанут диплом, орден, гвардейский значок, удостоверение инвалида Отечественной войны и аттестат об окончании средней школы. Можно кататься на метро бесплатно, давиться в толпе перед контролёрами, приблизиться к одной, руку с билетиком тянуть к другой, шагнуть на ступеньку эскалатора — и поехали. А билет за 15 копеек ненадорванный в кармане.

Можно пристроиться к похоронной процессии. Постоять, обнажив голову, скромно сесть в автобус вместе с роднёй, сослуживцами, однополчанами или кто они там, перекинуться словечком, дескать, замечательный был человек, вместе в школу ходили. Войти в квартиру, а там поминальный стол, и отлично покушать.

Можно выстоять часовую очередь перед кинотеатром «Художественный» на Арбате, остаться с носом перед захлопнувшимся окошком кассы и купить с рук за углом, в последнюю минуту билеты на эпохальный фильм «Клятва».

## УХОДЯ ОТ НАС. ПОЛОТНЯНЫЙ ЭПОС

Гаснет свет. В последнюю минуту зрители всё ещё ёрзают, устраиваясь удобней на жёстких стульях. И вот это начинается...

На необъятных просторах, в волжских степях, висит на стене фотография: хозяин избы Степан Петров вместе с Вождем, во время славной обороны Царицына. Оттремела гражданская война. Семья за праздничным столом. Что ждет их в Новом, 1924 году? Кулаки поднимают голову. Холодеющей рукой, смертельно раненный из кулацкого обреза, Степан вручает жене Варваре письмо — передать Ленину. И вот Варвара Петрова в Москве. Красноармеец с заиндевелым штыком у ворот Кремля объясняет, что Ленина нет, он в Горках. Вместе с Варварой шагают по снежной аллее кавказский пастух Рузаев, узбекский хлопкороб Юсуф и украинский батрак Семён. Как вдруг — траурный плакат над колоннами фасада, Ленин отдал концы. Из подъезда выходят руководители партии. Но сперва появляются Каменев и Бухарин. Как-то сразу становится ясно, что это Бухарин и Зиновьев. Или Каменев — что одно и то же. Враги народа; это сразу видно по их физиономиям. Тем более что они уже и не маскируются. Думают, что настал их час.

В сущности, с ними было всё ясно уже тогда, оставалось только разоблачить и поставить их к позорному столбу, зачем

же понадобилось столько лет, чтобы, наконец, с ними разделиться. Ведь это и есть главная задача, суть всей борьбы, вывести на чистую воду двурушников, агентов иностранного капитала, злейших врагов партии; революцию совершить — пустяк по сравнению с этой задачей. Но это сейчас нам понятно, а тогда обстановка была сложной. Кто там следующий вышел из подъезда? Выходят истинные ленинцы. Их легко узнать по портретам: Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Буденный. Их озабоченные лица выражают тревогу. И не зря: враги готовят атаку на Сталина. А вот...

Вот! Пол под ногами ходит ходуном, качается люстра, зал сотрясается от аплодисментов, счастливый вопль: «Да здравствует товарищ...!» Зрители повскакали с мест, пришлось даже остановить проекционный аппарат. Луч повис над головами, воцаряется тишина. Все уселись. На экране он сам. Одинокий, поникший, неподвижный, в меховой шапке с опущенными ушами, а поодаль скамейка. Разрешается ли останавливать фильм посреди сеанса? Должно быть, это согласовано. Выдающийся артист нашего времени Геловани в роли товарища Сталина, а может быть, настоящий товарищ Сталин — так здорово он похож — играет самого себя, то есть Геловани. Все сидят, прикованные к стульям, все глаза устремлены на экран. Слабый шелест проектора, и Вождь оживает. Геловани продолжает свой путь. «Звук, звук!» — кричат в зале. Стучат ногами — тысячекопытный гром. В страхе, в панике киномеханик что-то нажимает, несутся кадры, вперед, назад, и, наконец, врывается музыка, Чайковский, Патетическая симфония. Геловани бредет к скамейке, на которой совсем еще недавно сидели вдвоем с Ильичом. Медленно поднимает голову, смотрит направо, куда же ушли верные ленинцы? Там, на снегу, на коленях стоит Варвара. Глубоко символический кадр: Родина-мать и её верный сын. Но пора возвращаться во дворец. В кабинете Ленина Вождь уселся за письменный стол. Под портретом Маркса, это тоже не случайно. Вообще здесь случайному, произвольному не место. Перед его взором проплывают картины прошлого, образ Ленина встает в его памяти.

Почему нет некролога? Глупый вопрос задает недалекий американский журналист Роджерс, он как раз подвернулся под руку на Красной площади. И не будет, отвечает Вождь. Ибо Ленин никогда не умрет. Но, конечно, и не оживет, — да и зачем? Он был бы здесь лишним. Никому нельзя доверять наследие Ленина, добавляет Геловани, оглядывая прищуренным взором Бухарина и Каменева, или Зиновьева, впрочем, это все равно. И восходит на трибуну. Позади него видна кремлевская стена и Спасская башня, и не догадаешься, что это макет. Медленно бьют куранты. Виден собор Василия Блаженного, его спустили на канатах на съёмочную площадку. Замечательная художественная находка режиссера Чиаурели. Именно так: не в Колонном зале, а на Красной площади, вместе с народом, на фоне древнего Кремля. *Уходя от нас, товарищ Ленин...* и народ за ним повторяет хором великую клятву. Тут и кавказский пастух Рузаев, и узбекский хлопкороб Юсуф, и украинский батрак Семён. Вдруг толпа расступается. Варвара, высоко подняв письмо, несет Вождю. Все в зале видят надпись на конверте: «Ленину».

Что-то там происходит, поет хор, на площадь въезжает молодой тракторист, как вдруг трактор портится. Как в той самой, русской народной легенде о мужике, который застрял в грязи со своим возом, а тут как раз проходили мимо Иисус со святителями. Что ж, сказал Иисус, надо пособить. Никола засучил портки, полез в грязь, а Касьян стоит, не хочет пачкаться. Так и Вождь очень кстати оказался с соратниками — Молотовым, Ворошиловым и Калининым. Что же, говорит, надо помочь, и сразу установил причину поломки трактора. Оказывается, необходимо сменить в моторе свечи. Исключительно правдивая и вместе с тем глубоко символическая сцена. Разговорились. Батрак Семен или пастух Рузаев — кто-то из них — пожаловался Вождю на кулаков. (Видимо, они и подстроили аварию трактора.) Вождь посоветовал кавказскому пастуху бороться с кулаками. Тут вступил в разговор узбекский хлебороб Юсуф. Геловани подсказал ему, что необходимо прорыть оросительные каналы, чтобы поднять урожайность хлопковых полей. И как на зло в их беседу

встревает все еще не разоблаченный Бухарин: лучше, говорит, будем покупать машины за границей. До каких же пор, мать твою так и сяк, думает Геловани, можно терпеть это предательство. Нет, отмечает он измышления Бухарина, не надо покупать машины за границей, идти на поклон к капиталистам, а необходимо самим развивать тяжелую промышленность.

Так и произошло. Успешно выполнен и перевыполнен пятилетний план по производству стали, чугуна и проката. Все встречаются в Кремле на большом народном празднике: тут и кавказский пастух Рузаев, и русский рабочий Ермилов, и, в общем, все. Артист Геловани приглашает всех в Георгиевский — или какой там — зал, в Георгиевском зале пляшут казачок, кавказский пастух Рузаев выдал лезгинку, а разбитной парень Иван подкатился к Вождю спросить разрешения оторвать нашу русскую, как когда-то во время обороны Царицына. Дело в том, что этот Иван — не кто иной, как сын Степана Петрова. Вождь, конечно, разрешил, Иван Ермилов, или Петров, это не важно, отчебучил барыню, Ворошилов растянул гармонь, а Буденный пошел вприсядку. А Геловани, с трубкой в зубах, улыбаясь, прихлопывал в ладоши. В этом проявился особый художественный такт создателей фильма — режиссера Чиаурели и автора сценария писателя Павленко, чувство меры, чутье художника подсказало им, что не следует заставлять Вождя плясать вместе с другими. Он, конечно, мог бы, и еще как, но будет лучше, художественно убедительней, больше будет соответствовать историческим фактам, если Вождь будет просто хлопать в ладоши. Так веселились, пировали, а между тем время было сложное.

Замечательная актриса Гиацинтова, она играет рабоче-крестьянскую мать Варвару или Варвара играет роль Гиацинтовой, это все равно, озабоченная, покидает праздничный зал. Ее не оставляют тревожные мысли. И вот она сидит где-то в закутке, кутается в оренбургский пуховый платок. Геловани входит и садится тут же. Это одна из самых важных, ключевых сцен. Она производит глубокое впечатление. Варвара спрашивает Вождя: будет ли война? Да, говорит он, и

все в зале понимают, что каждое слово Вождя взвешено и продумано. Эту сцену товарищ Сталин сыграл с изумительным мастерством. Да, войны не миновать. И Варвара ему отвечает: что ж, нашему поколению не привыкать преодолевать трудности. Так они разговаривают, сидя вдвоем, Варвара и Вождь, отец и дочь. И то же время как бы муж с женой. И, само собой, мать и сын. Етить твою мать! Мировая кинематография ещё не знала произведений такой художественной глубины, такого исторического размаха.

Гитлер, живая карикатура, надрывается, бьет себя в грудь. Наша делегация в Париже, по указанию Вождя хочет начать переговоры, создать фронт миролюбивых народов. Но у французского и английского министров своё на уме, они ведут двойную игру и хотят столкнуть лбами Гитлера и Советский Союз. Бонне, сучий потрох, отплясывает в ночном притоне, типичный французский разврат, а Чемберлен юлит и лицемерит, что характерно для англичан. Вождь всё это предвидел. Под музыку Шостаковича тевтонская рать идет на Москву. Американский журналист Роджерс, тот самый, который спрашивал, почему не было некролога, советует Вождю мотать из столицы, пока не поздно. Нет, отвечает Геловани, Москва сдана не будет. Так и произошло, и пошли потом победа за победой. Здесь создатели фильма следуют выводам военно-исторической науки: удар — победа, следующий удар — следующая победа, восемь знаменитых сталинских ударов, в который раз всё совершилось по предвиденью и по планам Геловани. Ясно, что и в дальнейшем всё пойдет как по маслу, завершится новой встречей русской матери Варвары с Вождем, тут уже не съёмочная площадка — Вождь произносит речь в настоящем Кремле, великая клятва выполнена, конец. Брызжет тусклый свет с потолка, люстра горит вполне накала. Все сидят, как пришибленные, обалдев от величия времен и событий, от гроыхающей музыки и спертого воздуха в зале. Стучат откидные сиденья, толпа валит к выходу. Тускло светится после дождя пустынная площадь, еще не рассеченная полуподземной трассой в те баснословные времена.

## ПРОВОЖАНИЕ И ОБМЕН МНЕНИЯМИ

А чем тут, собственно, обмениваться. В молчании обогнули каменный шатёр станции метро «Арбатская».

Марик Пожарский заметил, что здорово все-таки показана Сталинградская битва.

Иванов: «Угу».

Ещё прошли шагов двадцать.

«Здорово он танцевал с любовницей».

«Кто?»

«Ну, этот».

«Угу».

Марик: «Это что, танго?»

Ира подтверждает, что это было танго. Вот так же точно двоюродный брат танцевал на даче. Но о даче не хочется вспоминать, и Марик ограничился замечанием, что Владислав мог бы сыграть не хуже Вертинского.

«Это не Вертинский. Это документальные кадры».

Темно-синее небо дышит спокойствием, никто не попадает навстречу. Троица побрела к устью улицы Фрунзе, повернули направо, пересекли поблескивающий трамвайный путь. Ира с Мариком впереди, за ними, сгорбившись, опираясь на палку, поспешает Юра Иванов. Постукивает его посох, мерцают стеклышки, но во время сеанса он сидел без пенсне.

Окруженный желтыми фонарями, в кресле на своем цоколе, завернувшись в крылатку, сидит удрученный Гоголь. Надо ли что-нибудь говорить? Фильм, словно грохочущий эшелон, переехал зрителей и понесся дальше. Назвать его увлекательным, интересным? Не те слова. Грандиозный фильм провернул, как мясорубка, сквозь себя всех и каждого — и выдавил фарш.

«А Буденный впрысядку».

«Это не Буденный».

«А кто же. Не узнал усищи, что ли».

«Буденный уже не маршал».

«Как это не маршал?» — удивился Марик.

«Обосрался во время войны». Иванов покосился на Иру, ещё не было принято выражаться при барышнях.

«Самые длинные усы в Советском Союзе».

«Откуда это известно?»

«Я читал».

«Унтер-офицерские. Он был унтер-офицером до революции. Бывают длинней».

Разве не о чем больше говорить? Надо ли говорить... О чём? Все было ясно. Ничто не происходило случайно, не рождалось само собой, все выполняло высшую задачу, великолепный фильм. Торжество исторической необходимости. И, может быть, поэтому в нём было скрыто нечто мистическое. Фильм, где не было ни одного невыдуманного кадра, ни одной естественной сцены и ни одного слова правды, таил в себе истину по ту сторону правды и лжи. Это была история, превратившаяся в мистику. Это был мрамор, похожий на картон. Видимо, Марик Пожарский в своих коротковатых брючках просто не понимал этого, не чувствовал, для него это был картон, раскрашенный под мрамор.

Грошовый скепсис. Нигилизм недорослей. Между тем задача, и смысл, и роскошь всего произведения состояли в том, чтобы заново сотворить мир — не более и не менее.

Надо было отменить незаконное, сомнительное, двусмысленное, хаотически беспорядочное прошлое — прошлое, в котором чёрт ногу сломит, — и установить прошлое, стройное, как геометрический чертёж. Надо было учредить новую, грандиозную, феерическую Историю с большой буквы. *Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!* Нет, быль сделать сказкой. Это была новая мифология, почище шумерской; действо, которое разыгрывали, сменяя друг друга, зловерные и благие божества, а где-то в низинах, куда стекали помои, обыкновенные люди старались им подражать. Божественный отблеск должен был играть на их лицах. Существуют ли боги на самом деле, существовал ли Вождь? Праздный вопрос. Что значит «на самом деле», — ведь это совсем не то, что На Самом Деле. На экране улыбалось, говорило, разглаживало усы и расхаживало в сапогах его земное воспроизведе-

дение. Все знали, что это актёр. Но актёр поразительно был похож на Вождя, потому что никто не знал, каков был Вождь «на самом деле». Актёр был как две капли воды похож на портрет Вождя. Устами актёра вещала мудрость Вождя, глазами, прищуренными, как у Вождя, взирало на зрителей провидящее око. Он появлялся, он шествовал, как если бы это был он сам; это и был Он Сам. Вот он идет по снежной тропинке, одинокий, погруженный в раздумье, в меховой шапке с опущенными ушами, не сразу можно его узнать, поскрипывают по снегу валенки. Но уже осенила догадка. Излучение коснулось сидящих в зале. Искусственное, инсценированное излучение, в меру возможностей искусства. Но только искусство, это тоже все понимают, способно изобразить Вождя, ибо тот, кто существует на самом деле, все равно что не существует. Никто его никогда не видел. Только в кино.

«Китаец, вот он кто».

Юра Иванов, холодно: «Не понял. Будённый, что ли?»

«Да какой Будённый...»

Ира: «Перестань. Чтобы этих разговоров в моем присутствии...»

«Все они китайцы, бывает такой дальневосточный идиотизм».

«Я сейчас уйду от вас».

Но есть во всём этом и другая сторона, существует высокая политика и трезвая целесообразность, и сопляк Пожарский не имеет о них ни малейшего представления. Проходит наваждение, бледнеет фантазмагория, пока они бредут с Гоголевского бульвара на Арбат, — и Марика Пожарского так и подмывает спросить: а как же он сам? — Кто — сам? — Ус! Смотрит на все это где-нибудь там и терпит эту беспардонную лесть? В книжке Фейхтвангера говорится: Вождь пожал плечами и сказал, что же я могу поделать.

А, между прочим, интересно, как это Марик умудрился прочесть «Москву, 1937 год», книга была изъята. А вот так: в эвакуации, в сельской библиотеке. Преспокойно стояла на полке. Зачем нужны сто тысяч портретов человека с усами, спросил Фейхтвангер. Вождь ответил: что я могу поделать,

раз меня так любят. Как — что? Прекратить, сказать: хватит! Но лесть ему нравится. Он ее поощряет! Сколько ни вывешивают портретов, ни воздвигают статуи, ему все мало.

Этот дурак не понимает...

«Кто дурак, я?» — Иванов, холодно: «Кто же еще. Ну и что там дальше сказано?»

«Он говорит: я не могу им приказать».

«Не может приказать. В том-то и дело!»

В том-то и дело, что монументы воздвигаются ему — и не ему. Мудрый Геловани — это он и не он. Потому что одно дело человек в Кремле и совсем другое тот, кто на портретах; потому что надо, необходимо, чтобы существовал хозяин, без него все повалится. Без него наступит хаос. Ради этого, хочешь не хочешь, согласишься на любую лесть. Какое там приказать — он вынужден отделиться от самого себя, не зря он себя называет в третьем лице. Люди шли в бой с его именем... Примерно так хочет, по-видимому, возразить Иванов, урезонить этого сопляка. Но сегодня Юра двигается через силу, сгорбленный, тащит пудовую ногу. Путь не близкий.

Пора расходиться, но Марик Пожарский выражает желание проводить Иру до дому. Иванов хмуро плетется рядом. В этот момент чувствуется, что он лишний. В этот решающий момент Марик, разгоряченный спором, полночным часом, призрачными огнями, мог бы вымолвить, наконец, что-то, что навечно отпечаталось бы в сердце Иры Игумновой. Пустые темные витрины на узком и безлюдном Арбате, влево уходит кривоватый Большой Афанасьевский переулок, трое топчутся перед крыльцом, над которым светится номер, и, как всегда, не знают что сказать друг другу.

## О ЧЁМ ГОРЮЕТ ГОГОЛЬ

О чём — сгорбленный, в кресле, кутаясь в крылатку? О сожжённом Втором томе? О своей России в бесконечной дали дорог, засыпанных снегом, залитых осенней грязью, о страшном городе нищеты и разбоя, о том, что скоро стащут с постамента — уже принято решение — и повезут на Никит-

ский бульвар, во двор постылого талызинского дома, где так мучительно страшно пришлось умирать, — а здесь, на его законном месте водрузят другого Гоголя, самозванца, которого он знать не знает, слыхом о нём не слыхал?

Русь, дай ответ. Не даёт ответа.

Ночь, тусклый блеск фонарей, и на скамейке фигура одинокого пешехода, присевшего отдохнуть. Что-то происходило наверху, человек-памятник с птичьим носом перевёл затравленный взгляд с Юрия Иванова на кого-то там: они приблизились, сначала двое. Потом их стало трое. Поодаль на *атасе* ещё один.

Он поднял голову. Над ним стоял квадратный, тупорылый, с раздавленным носом.

«Кого я вижу! — прогундосил. — Здорóво, землячок».

Иванов окинул компанию сумрачным взглядом.

«Чего молчишь-то? А может, это не он?»

«Он», — сказал кто-то сзади.

«Здорово, говорю. Не узнаёшь?»

«Узнаю. Чего надо?»

«Чего надо... А? — удивился с перебитым носом и взглянул на своих. — Он спрашивает».

«Вот что, отцы, — сказал Иванов устало. — Отчаливайте. Я за себя не отвечаю».

«Чего-чего?»

«Валите отсюда. По-хорошему».

«Между прочим, должок за тобой. Бухой был, забыл?»

«Не забыл».

Иванов стал подниматься.

«Куда? — спросил гундосый. — Мы ещё не поговорили».

Иванов усмехнулся.

«Ну-ка, Манюня...»

Он не успел встать, как получил удар крюком под скулу, пенсне слетело на землю.

«Проси прощения, гад!»

Иванов отступал, косясь по сторонам, медленно занёс палку.

«Полегче. Знаем, какой ты храбрый».

Манюня врезал ещё раз. Кто-то, изловчась, вырвал палку у Иванова. Тупорылый с размаху треснул по спинке садовой скамьи, трость разлетелась пополам.

Он занёс ногу над стёклышками.

«Подыми, сука, гад недорезанный».

Иванов озирался — может быть, искал на земле что-нибудь тяжёлое.

«Подыми, говорят... Раздавлю на х...!»

Тут раздался свист, и компания исчезла. Чьи-то сапоги скрипели по песку. Человек шёл по аллее, остановился, увидев полулежачего на скамейке, покачал головой и пошёл дальше.

В полутьме Юрий Иванов прижимал к губам и носу окровавленный платок, обломки пенсне блестели на песке. Он решил посидеть ещё немного. Тупо, тяжело проворачивались мысли, плескалась вода, его качало, он стоял, держа перед глазами тяжёлый морской бинокль.

Огоньки во мраке, один, другой, ещё несколько, и пропали. Он снова сидел на скамейке перед каменным Гоголем, но на самом деле склонился над переговорной трубой: объект впереди по носу.

Иванов громко, длинно выругался.

## **МАРИК ПОЖАРСКИЙ РЕШИЛСЯ НА ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК**

Видение девушки в красном платье вновь посетило Марика Пожарского и тотчас померкло: тут было другое; тут вступила, можно сказать, в свои права литература. Ибо писание волнительней того, о чём пишут. Писание — это заместитель того, о чём пишут. Не зря в таких случаях употребляется двусмысленный глагол «излиться».

Наше существо тянется навстречу той, которая излучает магнитное поле, но истинная причина любви — в нас самих; причина — наше ожидание, потребность испытать воздействие поля, жажда любви. Такая любовь оказывается чрезвы-

чайно хрупкой, и если она не осуществилась, благодарите судьбу; надежда прекрасна до тех пор, пока остаётся надеждой; чего доброго, и тоска, и восторг, и обожание испарились бы на другой день после того, как робкий обожатель сподобился бы, наконец, овладеть Ирой. Остался бы привкус чего-то, на что совсем не рассчитывали, осталось бы бедное женское тело; а пока...

*Я к Вам пишу — чего же боле...* В стихах? Гениальная идея. Однако по зрелом размышлении этот проект был отвергнут. Тут нужна была проза, серьёзная, в меру страстная, проникновенная, и вообще ему было сейчас не до рифм. В конце концов она и прежде наверняка догадалась, что его стихи были адресованы более или менее ей.

Наступило время прямой речи.

*Здравствуй, Ира. Или нет, проще. Ира! Я давно собирался...*

Он сидел в том самом «русском кабинете», из которого вышел однажды во время перерыва, — как давно это было, — и увидел её, она стояла у балюстрады, кто-то шёл вниз по лестнице, и она привстала на цыпочки, отчего платье приподнялось на её бёдрах, и открылись обтянутые чулками подколенные ямки; он сидел за столиком у стены, под уютной лампой, никому не мешая, а в углу напротив, на стульях и на диване расположилась группа русского отделения. Что-то бубнил вдохновенный доцент. Марик Пожарский вперил взгляд в бумажный лист. Перо, предоставленное самому себе, чертило что-то, выводило причудливые знаки.

Как известно, решающим шагом в расшифровке экзотических письмён была догадка, что мы имеем дело с письмом, а не с орнаментом. Что это, от кого это, скажет она, получив письмо по почте без обратного адреса.

*Ира! Я давно уже собирался...*

И вдруг — неизвестный алфавит, шифр.

Буквы нельзя придумывать как попало, буквы должны быть выдержаны в одном стиле. Нужно взять за основу графический архетип: круг, квадрат, угол. Буквы круглые, тонкие, похожие на кружева, как буквы грузинского алфавита,

или свисающие с перекладины, как письма санскрита, или извивы и локоны готического шрифта, или копы и наконечники стрел рунического письма. Это был какой-то зуд, болезнь — изобретать письменность, выводить загадочные узоры и гадать, что они означают, как будто знаки существуют прежде всякого содержания, сами порождают неведомый смысл, и началась эта болезнь ещё в детстве.

Конечно, это лишь способ оттянуть неизбежное. Решение принято. Он порвал бумагу и оглядывался, куда бы выбросить. Положил перед собой чистый лист, умокнул перо. Теперь кто-то на диване зачитывал реферат.

*...стало вехой в послевоенной советской поэзии. Такие стихотворения, как «Стеной стоит пшеница золотая», как ставшее уже классическим «Слово к товарищу Сталину». Семинар по Исаковскому. Дураки!*

*Ира! Я давно хотел сказать тебе.*

Его рука снова чертит завитки. Увлекательное занятие. Задача — обойтись минимальным набором простых элементов, создать из них всё возможное разнообразие знаков. Секрет письменности, между прочим, в том, что не всякий знак обязательно что-то значит! Бывают нулевые знаки. Вот эта буква, например, означает просто паузу. Знак может выражать настроение пишущего. Знак предупреждает: речь пойдёт о тайном, неизречённом.

Сколько можно? Сколько можно бубнить о поэтическом мастерстве стихоплёта, который даже не заслуживает того, чтобы его читать. Сколько можно марать бумагу дурацкими закорючками, вместо того чтобы... Нога осторожно придвигает мусорную корзину. Марик занят рисованием. Портрет Исаковского, весьма реалистический, на тоненьких ножках, в лаптях и с лирой. Нет, пожалуй, с гармонью.

Снова замерло всё до рассвета.

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.

Только слышно на улице где-то

Одинокая бродит...

Туда ему и дорога. Казнённый крест-накрест, скомканный стихотворец летит в корзину. Художник воровато поднимает глаза: теперь перо рисует её. Нет, конечно, не конкретную её. Вечный сюжет искусства: Марик рисует Женщину. Круглое лицо и локоны наподобие ионической капители. Шея и плечи. Некоторую трудность представляют растопыренные руки, которые получились слишком короткими. Зато какие груди! Талия... широченные бёдра. Пах, похожий на нос корабля, на расщеплённое перо.

Его отвлекает движение в углу комнаты, доцент встал с дивана, задвигались стулья: перерыв. В панике Марик Пожарский комкает похабный рисунок, выгребает бумагу из корзины, прочь, прочь отсюда.

## ТОЛЬКО СЛЫШНО НА УЛИЦЕ ГДЕ-ТО

Всё происходит в одно и то же время. Все живут в одной стране. Каждого обнимает общая жизнь. Поздно вечером в толпе, на перроне Казанского вокзала стоит человек тщедушного сложения, в валенках и полушубке, в мохнатой шапке-ушанке — реликт бывшего благополучия. Пассажир втиснулся со своим багажом в вагон. Всю ночь и весь следующий день он качался, сперва притулившись в проходе, затем лёжа на освободившейся верхней полке, следовал маршрутом демобилизованных и заключённых, всех, куда-то и зачем-то едущих, для кого тряска в переполненных поездах, шапка под головой, чтобы не стащили, стук колес на стыках, как стук огромных часов под ухом, остановки, пересадки, блуждания по путям, ночёвки на вокзалах превратились в образ жизни. Удивительным образом после несчётных потерь страна по-прежнему была битком набита людьми. На рассвете третьего дня пассажир выглянул в окошко и увидел заснеженные леса, услышал свистки, почувствовал, что его тащит к изголовью, поезд шел по дуге, видна была загибающаяся цепь вагонов, поезд затормозил, завизжали колёса. Медленно поехали навстречу и остановились тусклые огни. Гром прокатился по вагонам. И — снова свисток, вагон

вздвогнул. Поезд нёсся вперед сквозь сизую мглу, путешественник дремал на полке, провиант был съеден, день померк. В сумерках он стоял с вещами в тамбуре, боясь пропустить свою станцию.

Было уже совсем темно, когда он добрёл до калитки, вошёл на крыльцо и, удостоверившись, что это тот номер, который нужен, оглядевшись, постучал в дверь. Чье-то лицо вглядывалось во тьму, отогнув занавеску, между горшков с цветами. Он миновал тёмные сени и вступил в просторную горницу, где пахло кислым теплом и уютom, на столе сияла керосиновая лампа, на комодe будильник отстукивал неподвижное время. Пока там, за тысячу вёрст, под гнусавоторжественный перезвон выстраивались в караул могучие стрелки, гудел колокол, бился над куполом чёрный с кровавым отливом флаг, пока сменяли друг друга сутки, месяцы, годы, — здесь тянулся один единственный год, здесь время ползло так же медленно, как ползёт стрелка будильника. И встретили его так, словно он отлучался ненадолго.

Былинкин сидел без шапки и полушубка, босой, шевелил грязными пальцами ног. Вошёл, припадая на ногу, хозяин в зелёном поношенном кителе без погон, с бутылками в обеих руках... «Может, они сперва желают попариться? — спросила хозяйка. — С дороги-то небось». Сегодня как раз истопили, объяснила она. «А не поздно ли?» — «Чего поздно. Воды ещё полкотла». Гость сообразил — в дороге всё спуталось, — что сегодня суббота. «Веничком бы, оно для здоровья полезно. А может, и того», — прибавила она. Военрук подмигнул: «Это мы устроим».

Былинкин шествует под предводительством хромого военрука, покорно бредёт по улице спящего городка, хозяйка несёт таз, веник и узелок с чистым бельём. Слепо отсвечивают мёртвые окна, высоко над угластыми крышами сияет оловянная луна. Покойное, безопасное захолустье, не надо ни о чём хлопотать. Отсюда глядя, какая эта была изматывающая жизнь. В конце концов ему дали хороший совет — убраться подобру-поздорову. На время, добавил кто-то. Что ж, переждём.

Гость остался один в предбаннике, в исподней рубаше и кальсонах. Оцепенелый, он не может заставить себя встать. Лампа под колпаком разбрызгивает тусклый свет, сыро, тепло, пахнет деревом, тянет гнильцой. Приезжий вздохнул. С усилием стянул с себя пропотевшее бельё, переступил, наклонив голову, через порог парной. Былинкин научился париться в эвакуации. Он вскарабкался на полók — отдохнуть, погреться, подумать о своей жизни. Он устал от этой жизни, как устают от долгой дороги. Ему показалось, что он всё ещё едет, раскачивается на полке и слушает перестук колёс. Он открыл глаза. Что-то скрипнуло в предбаннике, захлопнулась дверь. Кто-то вошёл. Он хотел спросить — кто там? — ждал, расставив тощие коленки, упёршись в полók ладонями. Тишина; видимо, заглянули и вышли. В эту минуту кто-то толкнулся в тяжёлую забухшую дверь, и призрак в белом, с огромными, блестящими в полутьме глазами вступил в парную.

## HAPPY END

Былинкин никому не писал, не предупреждал о своём приезде. Он поразился даже не тому, что она явилась, а какой она стала. Голоногая, луннолика, с крепкой шеей, с полными белыми плечами, в короткой ночной сорочке с кружавчиками. Волосы сзади пучком. Она притворила за собой дверь, стояла в нерешительности. «Ты?» — спросил он растерянно.

Вот оно что, думал он, всё подстроено, и уже не выбраться отсюда. Он знал, что военрук приезжал в Москву не один. И он был рад, когда оказалось, что их быстренько спровадили, не понадобилось объясняться с Валентиной, с её братом, он вообще с ними не виделся. Значит, это был заговор. Они укатили назад с твёрдой уверенностью, что Былинкин вернётся, и, хотя никто ему в парткоме не говорил: возвращайся в Агрыз, просто намекнули, что лучше уехать куда-нибудь подальше, — им самим не хотелось громкого скандала, надо было спустить дело на тормозах, — хотя никто так прямо не сказал, но подразумевался Агрыз, и теперь ему было ясно, они пообещали военруку надавить на Былинкина, заставить его вернуться.

Он даже не спросил, как она тут оказалась, не спросил о ребёнке, — кажется, это была девочка, — он смотрел на Валю во все глаза, и мгновенная мысль о бегстве, дескать, позабыл что-то, сбегая и вернусь, а самому — на вокзал, в кассе купить обратный билет, и поминай как звали, — мысль эта спуталась с другой мыслью, вообще что-то начало мешаться в голове, то, что он сидел голый, разомлевший в тепле, не давало сосредоточиться. Валентина стояла в сорочке, приподнятой на груди, такой высокой груди у неё никогда не было. Была жалкая, тощая, глупая, как пробка, мыла полы в клубе. Он втянул в себя воздух, съёжился и прикрыл низ ладонями. Валентина смотрела на него, подняв лицо с приоткрытым ртом, видно было, что она волнуется, кружева вздымались на ней, точно она не могла отдышаться. Теперь в Агрызе живу, пролепетала она, но непонятно было, у брата или отдельно от них.

«Дай-ка мне...» — сказал Былинкин, показывая на ковш, она поняла, бросилась к бочке в углу, белоногая, пышнобёдрая, со скрученными на затылке волосами, подала ковш. Плеснуть в лицо холодной водичкой, придти в себя. Успели-таки подсунуть ему рюмку зелья. Былинкин перевёл дух. И чем больше он трезвел, тем больше успокаивался. Тем сильней было это чувство — ничего не спрашивать, ни о чём не думать. Всё образуется, всё устроится само собой. Валентина вышла в предбанник снять сорочку. Гость пил из ковша, провёл по лицу мокрой ладонью. Гость ли? Как-то, не спросясь у него, само собой получалось, что он вернулся насовсем. Из командировки, с учёбы. Его ждали. Женщина зачерпывает горячей воды и швыряет на раскалённые камни. Шипя, вырывается белая струя, горячий пар обжигает лёгкие, тускло, жарко, она уже не стесняется своей наготы, деловито мочит в шайке берёзовый веник. Так и положено: мужик на полке, жена с веником.

Он лежит плашмя, щекой на скрещённых руках. Валентина лезет вверх с деревянной шайкой. Над ним колышутся её груди, перед глазами круглые женские ноги. Она погрузила веник в горячую воду. О-о! Бывший студент, бывший герой-партизан, бывший секретарь бюро и член коми-

тета, свергнутой, осмеянный, одинокий, полуживой с дороги, корчится в облаках пара, изнемогает от наслаждения под хлещущими ударами. Ох, хорошо. И ничего больше не надо. Он сел, отдуваясь. Шальная мысль, не тряхнуть ли старинной, прямо здесь, на горячем полке, растворилась в парном довольстве. Мирно сидят рядком.

Али ещё поддать?

Былинкин сошёл с помоста, опираясь на руку женщины, покорный, умиротворённый, да и о чём волноваться, всё образуется. Его усадят в прохладном предбаннике. Валентина, с головой, обмотанной полотенцем, оботрёт ему спину, и живот, и в паху, и ноги, и натянёт, чтобы не простудился, колючие вязаные носки, и поможет одеться, и нахлобучит шапку. И пойдут они рядом, она с тазом под мышкой, он, держась за неё, словно чем-то опоённый, под высокой серебряной луной, по спящей улице, где всё замерло до рассвета, *дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь*, а там уже стол накрыт жесткой крахмальной скатертью, опрокинуть в рот хрустальную стопку, закусить твердым, с лёдника салцом, огненной рассыпчатой картошечкой, малосольным огурчиком, многоглазой, оранжевой, как заря, на громадной чугунной сковороде, глазуньей. А там и борщ, и котлеты, и опять по стопочке, по полной, кушайте на здоровье, Игорь Семёнович. Никто не спрашивает, какие у него, собственно, планы. Несчастный, тощий, с хохолком волос на темени, Былинкин сидит возле разругавшейся, как яблоко, помалкивающей, счастливой Валентины, ни дать ни взять — молодожёны. Будет тебе, отец, умеряет хозяйка расстаравшегося военрука, не очень-то его спаивай, — и всем понятно, что она хочет сказать, бабы — они дело своё знают, впереди брачная ночь. А что будет завтра, не всё ли равно, утро вечера мудренее.

## РЕМОНТ. МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ

Иванову Юрию Михайловичу выдали направление на стационарное лечение в областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, но туда пришлось бы неделями ждать

очереди. Последнее обострение было в ноябре, после драки на даче у Владислава; всем троим пришлось топтать в крошечной тьме по грязному хлюпающему снегу и просидеть на станции до утра в ожидании электрички. Была, по крайней мере, причина. Сейчас особых поводов для рецидива не было, но стояла гнилая, промозглая погода, ни зима ни весна, поселившая колотье в отсутствующей ноге; вечерами охватывала тоска, некуда податься, невозможно согреться из-за озноба; культя была воспалена, пришлось отказаться на время от протеза. В виду этих обстоятельств Иванов пил целую неделю, почти ничего не ел, к ужасу матери, не показывался на занятиях. Да и не мог представить себе, как это он появится в университете на костылях. В поликлинике врачаха изъяснялась туманно, наконец, было произнесено это слово: остеомиелит, знакомое по тем временам, когда он кочевал почти полгода по госпиталям. Культя была с самого начала плохо, наспех ушита в Эльбинге, в дивизионном ППГ.

Ждать очереди не имело смысла, пришлось лечь в районную больницу, чему Юра был даже рад, хотя и здесь первые две ночи провёл в коридоре. Завотделением попенял ему, что он запустил обострение, пригрозил — еще раз повторится, придется делать экзартикуляцию в тазобедренном суставе, сам понимаешь, не радость. Операция по укорочению (это называлось «освежить» культю) была произведена в старинной Екатерининской больнице № 24 на Петровском бульваре, где они долго стояли в очереди перед регистратурой, старуха в грязнобелом халате поверх пальто водила пальцем по строчкам, переспрашивала палату, имя, отчество, которого, как оказалось, ни Марик, ни Ира не знали. В больнице, снаружи импозантной, с ампириными колоннами, было тесно и грязно, продолжался ремонт, затеянный ещё накануне войны; лифт всегда занят, поднимались по узкой лестнице, пробирались по коридорам мимо баб-малярок, ворочавших длинными кистями, в заляпанных робах, в платочках до глаз; шли навстречу пробежавшим сестричкам, мимо коек с больными, лежавшими в коридоре, и полуоткрытых дверей в палаты, где всё свободное место было заставлено койками.

Вошли, несмело озираясь, оглядывая лежащих. Юра лежал у окна, рыжий, почернелый и осунувшийся, без пенсне, поднялся было в постели с почти испуганным выражением и тотчас лёг, — не хотел, подумала Ира, чтобы увидели его без протеза. Оба топтались между кроватью Иванова и соседней, свежезастеленной, кто-то умер ночью, и кого-то должны были перевести из коридора на освободившееся место.

Ира положила на тумбочку приношение. Друзья сидели рядом на краешке незанятой койки. Марик поглядывал в окно, деревья уже покрылись зелёным дымом, серые облака плыли над городом, томительная свежесть сочилась из открытой фрамуги, из-за поворота на бульвар показался трамвай. Разговор не клеился.

Потух вечерний свет, улеглась суета, сделан укол, сестра собрала градусники, субфебрильная температура. В коридоре шорох, плеск воды; сейчас начнётся качка — которую ночь одно и то же. Мужик рядом тоже не спит. Вдруг оказалось — вовсе не «экзитировал», лежит носом кверху как ни в чём не бывало.

## РЕМОНТ. ДЕВОЧКА НИЧЕГО СЕБЕ

«Тебя унесли, я сам видел», — сказал Иванов.

«Унесли, а потом принесли».

«Ты умер. Врезал дуба».

«Как и ты».

«Я жив».

«Значит, и я жив».

Иванов потёр лоб и сказал, что он всё понимает. «Что понимаешь?» — спросил сосед. Понимаю, сказал Иванов, что это бред, утром вкатили каталку и увезли труп. Потом приходили, сидели на пустой койке Ира и Пожарский. «А ты кто, вообще-то? — спросил Иванов. — Что-то я тебя не помню».

«Мореходку вместе кончали».

«Не было такого, не помню».

«Как это не помнишь. По случаю приближения немцев досрочно всем офицерские звёздочки, фуражки новенькие с крабом, прямиком из училища — в Кронштадт, это ты хоть помнишь?»

«Конечно».

Ага, сказал человек, значит, не совсем память отшибло. Всю зиму на базе проторчали. «С-13» в сухом доке. Загляде-  
нье, а не лодка. Гордость отечественной техники.

«Какая там гордость, вся изуродована глубинными бом-  
бами».

«Это что же — значит, уже после?..»

«Не после, а ещё до нас. Вот, думаем, и с нами, может,  
произойдёт то же самое».

Постой, сказал Иванов, это ты говоришь или это я ска-  
зал?

«А какая разница — я, ты... Маринеско говорит: ребята,  
ещё немного потерпеть».

«Капитан третьего ранга».

«Он самый. Известный бандюга. До Нового года, гово-  
рит. А там дадим фрицам прикурить».

«Хочу спать», сказал Иванов.

«Я тоже».

«Ты-то причём, тебя нет».

«Значит, и тебя нет».

«Мы не от старости умрём. От старых ран умрём»<sup>1</sup>.

«Интересно. Кто это сказал?»

«Так, один».

«Ты их слушай, они тебе наговорят... А это кто такие бы-  
ли, на моей койке сидели? Девочка так себе. Лучше не мог  
подобрать?»

«Много ты понимаешь».

«Не, я шучу. Похожа на ту».

«На кого?»

«На ту... — так и непонятно было, на кого. Он спросил: —  
Ну, и как у тебя с ней?»

«Никак».

«Не даёт, что ли?»

«Пошёл ты к е... матери, я спать хочу». Юра Иванов  
прислушался, с кроватей раздавался храп; отвернулся к сте-

---

<sup>1</sup> Семён Гудзенко (1922–1953).

не, уверенный, что никакого разговора не было, просто подскочила температура, но дело обстояло как раз наоборот, фантазией было явление Иры с Пожарским. Он стал думать об Ире, о том, что она войдёт снова, — почему бы и нет? — прокрадётся к нему в темноте и сядет на кровать, но мысли его отвлеклись.

Всю зиму ремонтировали, залатали корпус. Вертикальный руль пришлось менять... Иванов ждал, что скажет сосед. Мужик на койке молчал. Иванов снова лёг на спину, стараясь поудобней устроить забинтованную культю, и скосил глаза: так и есть, чья-то голова на подушке. Ремонт был закончен, лодка как новенькая, потом отработка боевых задач в Неве между мостами, в охтенском море. В эту минуту он понял, что это его голова лежала на подушке, и окончательно успокоился. Он пробирается между койками. Упругим шагом выходит в коридор, видит спящую за столом дежурную сестру, поднимается по лесенке на командный мостик.

## АТАКА

Второй помощник капитана стоит на мостике рядом с антенной и трубой перископа, в шерстяном свитере, в меховом комбинезоне-канадке, завязки капюшона затянуты, над водой мороз градусов под двадцать с ветерком. Днём радиogramма из штаба флота: в связи с успешным наступлением наших войск возможное появление транспортных судов в районе Мемеля и Данцигской бухты. Хлопнул правый дизель, за ним левый. Зачавкали компрессоры. Лодка раскачивается в килевой качке, идём в район перехвата. Штормит, брызги замерзают на лету, колючие льдинки бьют в лицо. Несколько слабеньких точек, как светлячки, в снежной мгле. Исчезли. Он снова подносит к глазам тяжёлый морской бинокль с 22-кратным увеличением, докладывает: прямо по носу огни.

Голова в ушанке показалась из люка, командир вылезает на мостик. Капитан третьего ранга поднимает к глазам би-

нокль. Ага... вон он где, голубчик. В переговорную трубу: боевая тревога! Право руля, курс 240. Акустик докладывает из рубки: слышу гул двухвинтового судна на большом ходу. Лодка, накреньясь, катится вправо. Разворачиваемся носом к объекту. Командир приказывает принять балласт, лодка оседает, теперь она не так заметна, волны не сбивают её с курса. На мостике ледяной вал то и дело накрывает с головой и скачивается по гладкому корпусу. Проходит четверть часа, лодка идёт к цели.

Теперь уже хорошо видно. Большой, не меньше двухсот метров в длину, ярко освещённый, пяти— или шестипалубный лайнер идёт со скоростью, какую позволяет запрудившая все палубы человеческая масса, высоко на передней мачте бьётся крошечный флаг, и ещё два, один флотский со свастикой, другой с санитарным крестом, волочатся по ветру за кормой. Хлопнула крышка люка над головой, вслед за командиром вахтенный офицер спускается по лесенке. Срочное погружение.

Гулкое эхо в глубине моря, это лайнер, ударившись о скалистый грунт, подпрыгнул, как мяч, и грохнулся снова, подпрыгнул ещё раз, рассыпая обломки, и окончательно успокоился на дне. В шлемофонах нарастающий гул переходит в рёв, его сейчас можно слышать без приборов, миноносцы преследуют лодку. «С-13» то и дело меняет курс, набирает глубину. Слишком медленно — вот тебе и гордость отечественной техники. Командир ведёт лодку туда, где наверху, на поверхности, плавают обломки, барахтаются пассажиры погибшего лайнера, там бомбить не будут; рёв винтов, стрекочущее эхо гидролокаторов всё сильнее, — у-ух-х, бух-х, — взрывы глубинных бомб то уходят раскатами, то приближаются. Все сжались, скрючились в тесном закутке, молчим, сидим, ждём удара, и в сумерках палата, где Юрий Иванов с замотанным в бинты обрубком ноги, сгорбленный, открыв рот, вперясь в пустоту, сидит перед пустой свежезастланной койкой, на которой накануне умер кто-то, — палата, два светлых окна, — медленно наполняется водой.

## ТРОЕ НА ЛЬДИНЕ

То, что Марик Пожарский равнодушно относился к поэтам-фронтовикам, к Межирову, к Гудзенко, ни в грош не ставил прославленных стихотворцев Суркова и Симонова (*Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...*), издевался над скромным полузрячим создателем «Одинокой гармонии» и «Слова к товарищу Сталину», всё это ещё куда ни шло. Но замахнуться на Поэта Революции! Марик утверждал, что Демьян Бедный писал ничуть не хуже.

«Семинар по Маяковскому! — И, сделав страшное лицо, утробным басом: — Другим странам — по сто! История — пастью гроба!.. Ба-альшой был юморист». Все трое стояли перед расписанием лекций в маленьком зале между двумя коридорами.

Брели по коридору, впереди Ира и Пожарский, сзади поскрипывал протезом Юра Иванов.

Он спросил вяло: «Слушай, а что ты вообще понимаешь?»

Марик, не оборачиваясь, надменно:

«Ну, уж в поэзии я немножко разбираюсь».

Ира: «А мне Маяковский нравится. И у Симонова есть хорошие строчки.

Над чёрным носом нашей субмарины  
Взошла Венера, странная звезда...

Тебе нравится?»

«Мне?» — спросил Иванов и пожал плечами. Стихи, если уж начистоту, — чушь собачья, какие там звёзды над лодкой, идущей в разрез волны, в кромешной мгле под хлещущим ветром.

«Ей всё нравится, — парировал Марик. — И то, и это... А вот ты мне объясни...»

Вышли на лестничную площадку.

«Ты мне объясни, стихи о советском паспорте: что это значит — по длинному фронту купе и кают? Где происходит действие, в поезде или на пароходе? Я достаю из широких

штанин! — закричал он, прыгая по ступенькам. — Выходит, сразу из обоих карманов. А эти папаши, каждый хитр. Картонная поэма, знаешь, кто это сказал?» Иванов сходит, держась за перила, выставляет трость, опускает ногу. Ира прыгает рядом. Марик ждёт внизу.

Марик, сурово:

«Товарищ Подвойский сел в машину. Сказал устало: кончено. В Кремль».

Тоненьким, писклявым голоском:

«Товарищ Подвойский прыг в машину, весело крикнул: кончено, в Кремль!!!»

Гробовым шепотом:

«Вы слышали? Товарищ Подвойский сел в машину. Неужели? И что? Как что? Кончено! В Кр-ремль...»

«Ну ты полегче, полегче».

И всё повторяется, все трое понимают, что не в этом деле. Не в Маяковском, пропади он пропадом.

Пред испанкой благородной  
Двое рыцарей стоят.  
Оба смело и свободно  
В очи прямо ей глядят.

«Ну, хорошо. — Иванов говорит спокойно, рассудительно. — Тебе виднее. Но неужели ты не хочешь признать, что он сам совершил революцию, в поэзии, в литературе. Что, в конце концов...»

Они вышли во двор. Ира — медленно, влюбленно:

Уже второй.  
Должно быть, ты легла,  
а может быть, и у тебя такое.  
Я не спешу, и молниями телеграмм  
мне незачем тебя будить и беспокоить.

Ну и рифма. *Легла — телеграмм*. Что-то поднимается каждый раз, как пена в закипающей кастрюле. И это называется дружбой. Бесконечные препирательства. Пожарский

что-то там лепечет о Маяковском (потеряв, между прочим, всякую осторожность!), это оттого, что он сопляк, жалкий стихоплёт, смешно думать, что Ира может увлечься этим недорослем. А когда Иванов возражает, то вовсе не потому, что он в таком восторге от «лучшего-талантливейшего», просто он завидует Марику. Смешно представить себе, что этот тупой ортодокс, этот увечный воин может завоевать Иру.

Вот он снимает свое новое пенсне, достаёт платок, дышит на стёклышки. Нацепляет на нос, этакий денди. Марик старается не глядеть на Иванова, он почти не в состоянии совладать с приливом ненависти. Может быть, лет через двадцать Марик Пожарский поймёт... но будут ли они жить через двадцать лет? Что поймёт? Что ненависть есть не что иное, как надевшее маску вожделение. Что на самом деле оно рвётся к женщине, но, отброшенное щитом её равнодушия, переключается на другого; что гений пола не устремляется на добычу, но кружит над ней, как ослепший коршун. Разумеется, никто из них об этом не догадывается.

А вот пятьдесят лет тому назад они бы стрелялись. Где-нибудь на задворках, на заднем дворе, за полуразрушенной университетской церковью, а ещё лучше в безлюдном парке, где поют птицы на рассвете. Теперь сходитеесь. Ира машет платком. Они идут навстречу друг другу, гремят выстрелы. Дым рассеивается, оба лежат неподвижно. И она стоит, дважды овдовевшая, между ними. И так ей и надо.

«А вот это, — говорит она, — разве это плохо?»

Я знаю,  
каждый  
за женщину  
платит.  
Ничего,  
если пока  
тебя  
вместо шика  
парижских платьев  
одену  
в дым табака.

Она не смотрит ни на того, ни на другого, её глаза обводят двор, чахлые кусты и ограду, удивительно нежен её подбородок, спокойно дышит её грудь. Может, Ире и нравится Маяковский, — Марик Пожарский вынужден признать, что Поэт революции, пожалуй, не так уж безнадёжен, есть неплохие строчки, — но, конечно, куда больше ей нравится то, что они наскакивают друг на друга. Ей это не надоедает!

Сколько коварства, женского вероломства, сколько тайного издевательства в её спокойствии, в её позе, в этой наигранной непринуждённости, ведь на самом деле она ждёт, ждёт с жадным любопытством, когда, наконец, Иванов швырнёт Марика на лопатки. И Марику Пожарскому становится ясной вся пошлая суетность ее поведения, все это притворство, вообще вся их бабья суть.

И в то же время ему становится легче, он понимает, что игра ведётся из-за них обоих, из-за него. Значит, он ей не совсем безразличен. Увы, это так: их троица держится на самом обыкновенном соперничестве. Через двадцать лет Марик мог бы сообразить, что у соперничества есть изнанка, хрупкая взаимная привязанность мужчин. И вот они топчутся во дворе перед дверью с вывеской факультета и не догадываются о том, как всё это шатко, хрупко, не хотят замечать трещину на льдине, где они стоят втроём, одни-одинёшеньки, и льдину несёт в океан.

«Дети мои, мы опаздываем», — говорит Ира.

Пора на лекцию в Новое здание.

За оградой по тротуару спешат горожане, равнодушные, мимолётные, рассеянно-раздражённые лица, кого в этой толпе интересуют стихи? У людей другие заботы. Вдалеке за широкой площадью сад, и зубчатая стена, и незаметный отсюда, безустали шагающий часовой. Люди не смотрят на стены и башни, их это не касается. Люди бегут навстречу друг другу, вправо к Библиотеке Ленина и налево к Охотному ряду и площади Дзержинского, к мраморно-гранитной крепости и новому, только что воздвигутому многооконному зданию с коридорами, камерами, подвалами, с кабинетами следователей, с прогулочными дворами на крышах, об этом никто не

знает, никто ничего знает, а кто знает, помалкивает, и всё рядом, от университета каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы, дико, странно подумать, как это может сосуществовать, как может уживаться одно с другим.

## ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ: ТРИСТАН И МЕЧ

В истории рыцаря Тристана, племянника короля Марка, истории сватовства короля к белорукой Изольде и тайной любви Тристана и Изольды был загадочный эпизод, которому не даётся никакого объяснения; о нём хранят молчание и Беруль, и Томá, и Готфрид из Страсбурга. О нём не рассказывал и профессор Данцигер на своем семинаре по старофранцузской литературе. Тристан, чьё имя, предрекавшее горестную судьбу, было дано ему, по одним преданиям, матерью, по другим — влюблённой в него королевой Бланшфлёр, получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, одно лишь прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что он красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёт мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах, под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Матушка велела

мне отведасть этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отравя; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла больше думать ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных версиях легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как устроен был свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умящённый, возлёт, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сберег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала глубокая ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочи-

вальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними обоюдоострый меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит. Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вождение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня. Кто знает? И не воображает ли себя девушка, которая учится на романо-германском отделении, наперекор всему принцессой Изольдой?

## ИОВ НА ЗАРПЛАТЕ

Диспут о поэзии выдохся; через узкие воротца вышли на тротуар. Снаружи перед университетской оградой, как всегда, сидит на тротуаре, отбывает дежурство пепельный человек в рубище. Седая щетина, серая вытертая на макушке голова, рядом собачий нос на вытянутых передних лапах.

Марик Пожарский приблизился к сидельцу. Нищий произнес свою формулу. Пес приоткрыл один глаз.

Подождав, нищий спросил:

«Тебе чего?»

Вместо ответа Марик протянул руку, сложил ладонь лодочкой, скорчил скорбную мину.

«Подайте Христа ради!»

«Чего?» — переспросил нищий, обратив к нему корявый лик.

«Больному-убогому, — пел Марик, — бедному студенту... Подайте на пропитание».

Собиратель подаяний воззрился на него, как, должно быть, взирал на самонадеянного юнца Елиуя праведник, познавший смысл страдания.

«Сучий потрох», — проскрипел он.

Мимо прохожие бегут друг другу навстречу, стучат подковки кирзовых сапог, шаркают опорки, постукивают каблучки женщин.

«Это же надо... — сказал нищий. — А ну вали отсюда».

Он скосил глаза на пса:

«Гони его нá-хер».

Зверь повёл ухом, не понимал, в чём дело, моргал, ждал подачки.

«Гони! — скомандовал хозяин. — Кому сказал...»

«Вот видите, — заметил Марик. — Он понимает».

«Не он, а она, — поправил нищий, — чего она понимает?»

«А то, что я, может, еще бедней, чем вы».

«Ты-то?»

Вместо ответа Марик с торжеством вывернул карманы коротких брючек-дудочек. Стоя фертом, держал концы карманов в обеих руках. Нищий молча, скучно глядел на него. Профессионал презрительно оглядывал дилетанта.

Идея просить у просящего — да ведь это всё равно что обворовать вора, всё равно что потребовать за свидание плату от публичной женщины. Подрывная идея.

К тому же нищий на работе. Надо было быть полным идиотом, ослом, лопухом, чтобы не знать, что побиралец здесь, у ограды университета — на работе. Напротив Кремль. В двух шагах американское посольство. Присматриваем за прохожими, отмечаем подозрительных, особенно всех, кто собирается кучкой.

Надо быть таким лопухом, как Марик...

«Чего ты мне карманы-то показываешь! Чего показываешь-та! Видали мы таких! Студент прохладной жизни... У кого просишь? У кого вымогаешь? А ну иди отседа, — гремел нищий, — работать надо, а не попрошайничать!..»

Он стал подниматься с места, встал, подтягивая штаны, и оказался детиной огромного роста; собака, вскочив на ноги, залилась лаем; в эту минуту, ни с того ни с сего, с другого берега Манежной площади сквозь шум и шорох машин донёлся торжественно-гнусавый звон кремлевских курантов.

Юрий Иванов, хромая, поспешно приблизился.

«Держи», — сунул нищему монету.

Марику:

«Хватит кривляться. Пошли».

Куранты: «Динь, динь-дилинь. Бом!»

Вдогонку неслось:

«Суки поганые, мандовошки. Много вас тут развелось!»

## СВИДАНИЕ

И вот, это было недели две спустя, происходит нечто маловероятное. Нужно признать, что правдоподобие не является законом жизни. Мы живём в неправдоподобное время. Особа неопределенных лет, явно посторонняя и, хуже того, в которой что-то неуловимо выдавало иностранку, вышла из деканата. Миновав холл с расписанием лекций и стенной газетой, направилась к выходу. Она шагала уверенно, не глядя по сторонам, словно не впервые находилась здесь. Дочь, ростом выше матери, спешила за ней. Двумя маршами ниже находился философский факультет, ещё этаж — и они вышли во двор. Было уже совсем тепло. Щурясь от солнца, гостя мельком оглядела парадный фасад, арку, двойную лестницу, колонны и двускатный верх со знамёнами и гербом. С двух сторон по углам выходявшего покоем Старого здания стояли почернелые статуи.

Вышли на тротуар из узких ворот, дама покопалась в сумочке, склонившись, бросила серебряную монетку собирателю подаяний. Подальше сидел еще один, она подала и ему. Широкая и пустынная, мощённая брусчаткой площадь, посредине мемориальный камень, редкие автомобили, а по ту сторону площади, за оградой и зеленью крепостная стена, зубцы, башни со звёздами, с железными флажками, — итак,

вот она, эта новая Византия, город чудес и тайн, и где-то там в жёлтом дворце за стеной прячется деспот, которому дочь поклоняется, словно живому богу.

Подождали, пока трамвай, два старых вагона, верезжа колёсами, поворачивал из узкой улицы вправо. Теперь, когда план, казавшийся нереальным, почти безумным, по-видимому, близок к осуществлению, гостя, прибывшая издалека, охвачена сомнениями. Зудящее любопытство, какая-то болезненная потребность увидеть воочию этого человека, — чем они могут быть оправданы в его глазах, согласится ли он вообще с ней разговаривать? Но поздно отступить, они перешли улицу. Ещё один памятник кому-то перед аудиторным корпусом. Вошли внутрь. Мамаша и дочка поднимаются по широкой парадной лестнице. Аудитория номер 66, они нашли ее без труда, десять минут до конца занятий.

Напрасное ожидание. В деканате дали неправильные сведения. По-видимому, намеренно. Дали понять, что ей здесь делать нечего. Но откуда они знают, с какой целью иностранка хочет повидать Юрия Иванова? Или все-таки знают, предупреждены по тайным каналам? Прозвенел звонок, молодежь выходит из высоких дверей, почти сплошь девицы, человека, которого им описали, нет. Толпа разошлась. Аннелизе графиня фон Ирш цу Зольдау, рыхловатая женщина за пятьдесят, с аккуратно уложенными короткими волосами серо-желтоватого цвета, с немного скуластым лицом и крупными выступающими зубами — фамильная черта, — в длинной вязаной кофте с вырезом, заколотым брошью, с перстнем-печаткой на безымянном пальце, в старушечьей юбке и неказистых туфлях, смотрит в тупой задумчивости вниз на лестницу, на спускающихся студентов. Что ж, тем лучше.

Конечно, *надо* было приехать, выполнить долг, который она сама себе навязала. Что теперь? Продолжать поиски, предпринимать новые усилия — *um Gottes willen*<sup>1</sup>, зачем, какой смысл?.. Будем считать, что наше упрямство вознаграж-

---

<sup>1</sup> ради Бога (нем.).

дено. В сущности, можно лишь радоваться, что встреча не состоялась. И в который раз она спрашивает себя, для чего, собственно, ей всё это понадобилось. Но где же дочь?

Стремительно повернувшись, Аннелизе фон Ирш видит, как из опустевшей аудитории вышли двое. Вышла Сузанна Антония и с нею бледный парень в пенсне, с палкой и студенческим портфелем, с веснушками, медноволосый, — точно-точно, как у Отто, подумала она.

Матери, по-немецки:

«Мама, это Юрий Иванов».

## ДЕВУШКА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Соня Вицорек — следовало бы сказать: фрейлейн Вицорек, но годы оккупации скомпрометировали это слово, — Соня Вицорек была непростая, даже в некотором смысле загадочная персона, из тех, о ком говорят: «со связями». Об этих связях не принято было распространяться, да и не так уж это интересно, достаточно будет, если мы скажем, что благодаря высокому покровительству удалось организовать поездку и встречу. Другой вопрос, было ли это в самом деле удачей. Что обещала, что могла принести такая встреча?

Для обитателей дома на Нижнекисловском (переведём назад стрелки скорбной эпохи) пакт о дружбе с Германией был подобен грому с ясного неба. Может быть, оттого, что среди эмигрантов не было достаточно пронизательных, а главное, циничных людей, они не верили своим глазам: фотография с Риббентропом и Молотовым на первой странице московских газет. Вождь международного пролетариата в Кремле произнёс тост за здоровье гнусного германского фюрера. С речью выступил нарком иностранных дел: некоторые близорукие люди, сказал он, увлеклись упрощённой антифашистской агитацией. В квартирах эмигрантов начались обыски, пошли аресты, в одну из этих ночей исчез Отто Вицорек. Соня осталась с подругой отца, теперь эта женщина занялась хлопотами о возвращении в рейх. Ловили новые

слухи, ждали выселения. Прошло несколько месяцев, и вдруг он вернулся, единственный из всех соседей. О том, что происходило во Внутренней тюрьме, отец Сони не рассказывал и о самой этой тюрьме никогда не упоминал. Внешне он несколько изменился, лишился передних зубов, отчасти даже лишился рассудка. Вицорек выздоровел от невзгод, но не от убеждений. Последующие события восстановили его энтузиазм и веру в Вождя, который, как теперь стало ясно, вовремя вмешался, чтобы пресечь беззаконие. К этому времени невенчанная жена, не разделявшая этой веры, сменив её на поклонение Шикльгуберу, сумела-таки уехать, её судьба неизвестна и неинтересна. Вицорек остался с дочерью. Вскоре началась война, и всё окончательно стало на свои места. Отто был членом каких-то комитетов, редактировал брошюры, подписывал воззвания. Соня отправилась в эвакуацию вместе со школой имени Карла Либкнехта. Три года жизни на Урале превратили её в рослую, светлоглазую, длиннозубую и длинноногую, уверенную в себе девицу, хоть и не получившую в наследство от отца его былую красоту, но всё же похожую на него, а ещё больше, может быть, на старого звездочёта, чей портрет не сохранило потомство. Наступила весна сорок пятого года, достопамятного, занесённого илом, забытого и незабвенного, — так застревает в памяти мелодия, а текст давно забыт. В июне, в последних числах, Сузанна Антония прибыла во «дворец радио» в Шарлоттенбурге, бывшую казарму СС, где теперь было определено рабочее место Отто Вицорека.

Летели с пересадкой в Минске. Здесь впервые она увидела развалины. Увидела остатки укреплений по обе стороны Одера, воронки от снарядов, но дальше потянулись аккуратные поля, перелески, озёра, чистые, ухоженные городки, прямые автострады; казалось, войны здесь никогда не бывало. Страна была похожа на чисто прибранную комнату у прилежной хозяйки. Низкие облака заволокли иллюминатор, самолёт, гудя, стоял в густом молоке. Началась болтанка; последние клочья тумана неслись мимо. Внизу проплывало что-то ужасное, развороченные танки, обугленные ле-

са, чёрные дымящиеся поля с торчащими из земли обгорелыми стволами. Дорога, по которой двигалось что-то в облаках чёрного праха. Появился город, но что это был за город: пустые, без крыш, коробки домов до самого горизонта, обломки церквей. Горы щебня и кирпичей росли навстречу, самолёт снижался. Кое-где расчищенные улицы забиты колоннами крытых брезентом грузовиков, коробочками-джипами, тележками, крошечные люди толкают перед собой детские коляски с кладью. Самолёт сел в Темпельгофе. Аэродром окружали остатки некогда импозантных зданий, выгоревших дотла. Отец волновался, она осталась безучастной, это была чужая страна, чужие люди, так вам и надо, думала Соня.

Вечером приехал автобус, кружили по мёртвому городу, проехать можно было только по главным улицам. Непонятно было, как, когда всё это можно разгрести. Да и надо ли. Уж лучше построить новый город где-нибудь в другом месте. На Франкфуртской аллее кое-где уцелевшие дома. Им отвели квартиру в бывшей гостинице для офицеров. Всё казалось удивительным Соне Вицорек. Немецкие надписи, люди на улицах говорят по-немецки. Берлинский «платт», который не сразу поймёшь. И, само собой, везде красноармейцы, в обмотках, в кургузых шинелях. Тёмные загорелые лица, белозубая улыбка. «Эй, фройлин!» Она отвечает по-русски.

После тюрьмы Вицорек заикался; до поздней ночи тюкал на машинке; Соня должна была читать напечатанное перед микрофоном, и первое время рядом с ней сидел русский майор. Несколько времени спустя она уже сама сочиняла тексты радиопередач, видимо, преуспела в этом, была откомандирована в Москву, окончила международную школу молодых кадров в Вешняках, заведение за высоким забором; Конрад Вольф, товарищ детства, был братом Маркуса Вольфа, которого все по старой памяти звали Мишей; и этот Миша стал теперь большим человеком, чтобы не говорить о том, кем именно он стал; можно было запросто к нему обратиться, всё прекрасно устроилось, всё, что нас здесь уже не может интересовать.

## БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«Он не помнит, я же говорила тебе».

«Спроси, где он потерял ногу».

«Мамочка...»

«Можно не переводить. Как-никак я филолог».

«Он говорит, что может обойтись без...»

«Только помедленней. Bitte sprechen Sie langsam».

«Поговори с ним сама. Скажи, что мне очень хотелось его повидать».

Иванов пробурчал что-то невразумительное.

«Он говорит, что счастлив с тобой познакомиться».

Аннелизе фон Ирш разгладила салфетку, по-видимому, не знала, с чего начать.

Вертела перстень. На перстне вырезан зубр.

«Вы изучаете немецкую литературу?»

«Изучаю», — мрачно сказал Иванов.

Соня, по-студенчески на «ты»:

«Почему ничего не ешь?»

«Боюсь испортить желудок».

«Он говорит, что не привык к такой роскошной еде».

Неслышно приблизился официант, подлил в чашки душистый кофе.

«Может быть, вы привыкли пить по утрам чай?» — осведомилась Аннелизе.

«Я? — сказал Иванов. — Ich...»

Он забыл слова. Да и пропало желание разговаривать. Он оглядел почти пустой зал, светлые окна с гардинами, пальмы в бочках, крахмальные скатерти, хрусталь. Нашего брата сюда не пускают.

Сейчас начнётся, думал он. Дружба народов, то да сё.

Аннелизе сложила салфетку вдвое, вчетверо.

«Не знаю, как вам объяснить... Мне хотелось вас увидеть... я вас разыскивала. То есть разыскивала кого-нибудь, кто... Мы оба... нас обоих... вы верите в предопределение? Помоему, он не понимает, переведи ему».

«Наш предок был знаменитый астроном. Переписывался с Тихо Браге. Мама считает, что спаслась благодаря звёздам».

«Какие там звёзды. Был шторм, снегопад».

«Да, но я не в том смысле...»

«Какой тут может быть смысл», — возразил он с досадой.

Аннелизе продолжила: «Мне кажется, мы могли бы найти общий язык. То, что мы оба остались в живых... Как, вы уже уходите?»

Иванов поднимался, опираясь на палку.

«Вот что... — проговорил он, сдерживая злость, не глядя на Соню. — Тебе такая вещь, как русский мат, известна?»

«Мат?»

«Да, обыкновенный русский мат».

«Немножко».

«Ну так вот, скажи твоей маме... — Он вздохнул. — Ну, в общем, скажи, что я благодарю за вкусный завтрак. Das Frühstück schmeckt gut».

«Ему надо идти на лекции».

Аннелизе фон Ирш опустила голову, через минуту Юра Иванов встретился с её взглядом.

«Мама хотела спросить, где тебя ранило».

«В море», — сказал Иванов.

«То есть... на Остзее?»<sup>1</sup>

«Не помню. А почему это её интересует?»

«Я же тебе объяснила: моя мама в конце войны...»

«Знаю. Тот самый транспорт?»

«Ну да... пассажирский корабль».

Иванов пожал плечами.

«А кто мог знать?» — спросил он.

«Что знать?»

«Кто мог об этом знать — что пассажирский?»

«Он говорит, что они не знали, что корабль вёз пассажиров. — Иванову: — Мама почему-то считает... Может быть, ты все-таки сядешь».

---

<sup>1</sup> Немецкое наименование Балтийского моря.

«Хорошо, сяду, — сказал Иванов. — Мы получили приказ. В этом районе ожидалось появление немецких транспортов».

«Он говорит, что...»

«Вы что, позвали меня, чтобы допрашивать? Sie wollen...»

«Да, — вдруг сказала Аннелизе. — Я хотела бы с вами поговорить. Я, — сказала она упрямо и при каждом слове кивая, — должна — с вами — поговорить».

«Мамочка...»

«Я долго искала этой возможности. Спроси у него, достаточно ли хорошо он меня понимает или надо переводить».

«Моя мама говорит, что рада, что смогла тебя разыскать».

«Спасибо. Весьма польщён».

«Должна сразу же сказать: я вовсе не собираюсь вас... Наоборот!»

«Мама, подожди минутку. Юрий... Пожалуйста, не думай, что мы тебя в чём-нибудь упрекаем. Советский народ вёл войну с фашизмом. Мой отец старый коммунист...»

«Вот как».

«Да. Он был соратником Тельмана».

«Поздравляю; ну и что?»

«Как что? Мы на твоей стороне, а не на...»

«Кто это — мы?»

«Я и мама».

«Мама тоже? Не думаю, — сказал Иванов. — Я знаю, что она хочет сказать. Что там были женщины, старики, дети...»

«Там были, между прочим, и раненые солдаты», — сказала Соня.

«В общем, беженцы. Видимость была плохая, сначала думали, что это военный транспорт. Потом оказалось... в общем-то да, корабль был освещён. Мы подошли совсем близко. Огромный пароход, как десятиэтажный дом, не меньше. Конечно, с конвоем. Но мы его вначале не увидели».

«Пойми, моя мама вовсе не собирается... И в конце концов, ты же был там не один».

«Я первым увидел корабль».

«Но ты же не виноват, что...»

«Да, да. Война, враг есть враг, всё ясно. И что творили немцы в России, можешь мне не объяснять. И, между прочим, то, что одно преступление нельзя оправдывать другим преступлением, это для меня тоже ясно».

«Что он говорит?» — спросила Аннелизе фон Ирш.

«Он рассказывает... как все это было».

«Догнали, шли параллельно. В каких-нибудь шести-семи кабельтовых... И то, что палубы переполнены народом, тоже видели, нельзя было не увидеть. Кто эти люди? Ясное дело — немцы, враги. Ну, и...».

«Ужасно, конечно, — сказала Соня Вицорек. — Но это можно понять».

«Может, и можно понять, не знаю. Победителей не судят, так ведь? — сказал Иванов. — А теперь представь себе: у нас боевое задание, выследить и уничтожить. А мы пожалели их и ушли. Что это значит? Невыполнение приказа, капитана под трибунал, и расстрел. И всех офицеров под трибунал».

«Что он говорит? Переведи».

«Сейчас, мамочка, сейчас...»

«Брось, — зло сказал Иванов и махнул рукой, — нечего переводить».

«Не моё дело вас осуждать, — сказала Аннелизе. — Но если бы вы знали, что там происходило... Все проходы, лестницы, всё забито, люди топчут детей, стариков... Меня втащили в лодку, ночь, снег, огромные волны, кругом крики тонущих, шлюпка переполнена, если бы вы только знали...»

«Знаю без вас», — сказал он.

## НЕ ВПОЛНЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Профессор Данцигер любил поговорить. (За что и пришлось поплатиться.) Не на подмостках большой Коммунистической аудитории, где, сидя в шубе и фетровых ботах, прихлёбывая холодный чай, он скучно вещал в пространство, всегда начинал с одной и той же фразы: «На прошлой лек-

ции мы рассмотрели вопрос о...» и заканчивал: «Но к рассмотрению этого вопроса мы перейдём в следующий раз», — а здесь, на старом факультете, знакомом с далёких старорежимных времён, в комнате с грифельной доской, с облупленными столами, с подоконниками в глубоких проёмах, с видом на Манеж, перед избранным кружком учеников на знамени-том семинаре Данцигера по раннему немецкому романтизму.

Представьте себе это время, говорил Сергей Иванович Данцигер, и первые, вступительные фразы его рассказа напоминали речитатив перед оперной арией: представьте себе это короткое, неповторимое время. Разве только с Афинами пятого века можно сравнить скопление гениев на пяточке нескольких германских княжеств в первые десятилетия девятнадцатого века. Гёте выпускает первую часть «Фауста», «Избирательное сродство» и «Западно-восточный диван». Ещё живы Гердер и Шиллер. Гёльдерлину остаётся несколько светлых лет, он работает над «Эмпедоклом» и печатает последние стихотворения. Новалис дописывает первую часть «Генриха фон Офтердингена», Клейст создаёт «Пентезилею» и «Принца Гомбургского», выходят в свет «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес» и «Серапионовы братья» Гофмана. Юный Гейне делает первые шаги в литературе... Все живут одновременно! И это ещё не всё, в музыке — это Бетховен. Это «Волшебный стрелок» Вебера и первые песни Шуберта. Это юная пора романтизма, небесно-голубого, как Голубой цветок Новалиса, цвета, ещё не ставшего багровым...

Профессор Данцигер говорил о Гейдельберге, Иене и Берлине, он оживал, молодец, розовел, не слышал звонка на перерыв, моргал, как филин, переводя от одного слушателя к другому загадочно-восторженный взгляд, и было ясно, что он видит не сидящих перед ним девиц, не Иру и не Марика Пожарского, а тех, давно ушедших, проживших короткую жизнь, писавших друг другу пространные письма на языке, который мы хоть и понимаем, но который кажется нам невозможным, как невозможен больше этот восторг и пафос. Но профессору Данцигеру этот язык не казался смешным. Он

и сам чуть ли не пел голосами этих сирен. Обратите внимание, говорил профессор Данцигер, что история, реальная история меньше всего интересовала этих людей, они хотели жить во всех временах, другими словами, в сверхистории: «Генрих фон Офтердинген» начинается с того, что часы бьют на стене в комнате, где лежит без сна юный Офтердинген, а между тем действие происходит в Средние века, когда никаких механических часов не существовало, — и это отнюдь не потому, что автор об этом не знает. Профессор Данцигер говорил о женщинах невозвратимой поры, без которых не было бы и этой поры, вокруг каждой вращалась вся эта компания поэтов и говорунов, словно хор планет вокруг солнца, он рассказывал о Доротее, скандально прославленной своим возлюбленным, Фридрихом Шлегелем, в «Люцинде» (кстати, кто читал этот роман? Поднимите руку) и о своенравной Беттине, сестре Клеменса Брентано, которая однажды сцепилась в доме Гёте с подружкой тайного советника, толстой Кристианой, о Каролине Шлегель, которая писала Августу: «Друг мой, ничто по-настоящему не существует, кроме творений искусства», и о другой Каролине, рослой и мучительно-робкой, неприступной и страстной, безответно влюблённой в профессора Крейцера и мечтавшей, переодевшись мужчиной, последовать за ним в Россию, — о бедной, непонятой Каролине фон Гюндероде, истерзанной противоречиями своей души, противоречиями эпохи, так что в конце концов она не увидела другого решения, как всадить себе ниже левой груди кинжал с чьим-то вырезанным на костяной ручке именем. Вы догадываетесь, чьё это было имя... А знаете ли вы, что начертано на её надгробном камне? О Земля, моя мать, и ты, Эфир, мой отец, и ты, мой брат, горный ручей, прощайте, я уйду в другой мир.

Послушайте, друзья мои, говорил профессор Данцигер, вперя взгляд то в одного, то в другого, послушайте, как описывает Беттина фон Арним свою подружку Каролину. По её словам, у Каро были тёмные волосы и серые глаза, она явилась на обед к епископу вместе с другими дамами приюта в чёрном орденомском платье с белым воротничком и шлейфом и была похожа на призрачную красавицу баллад.

Он рассказывал о девочке Софи фон Кюн, в которую влюбился двадцатидвухлетний Фридрих Леопольд фон Гарденберг, тот, кто просил Августа Шлегеля опубликовать «Цветочную пыльцу» под псевдонимом Новалис. Но вправе ли мы поместить эту Зёфхен в один ряд с девушками и женщинами романтизма? — спросил профессор Данцигер и развёл руками. Мы знаем о ней слишком мало, вернее, мы знаем ту Софи, которую сотворил Новалис из двенадцатилетней, вероятно, ничем не замечательной барышни-подростка, круглолицей, толстенькой, с туповатым носиком, очень доброй, посылавшей ему записки с ужасными орфографическими ошибками. Нужно понять, воскликнул он, что означала встреча с Софи фон Кюн для человека, однажды написавшего: «Поцелуй — начало философии»! Но мы не знаем, чем стала бы эта Софи, если бы дожила хотя бы до совершеннолетия, что осталось бы от философской и мистической, истинно романтической любви, подарившей нам и «Гимны ночи», и «Офтердингена» (вы, конечно, прочли этот роман?), если бы не кончина невесты, которой едва исполнилось пятнадцать лет. Отчего утасла Софи фон Кюн? — профессор Данцигер горестно покачал головой, развёл руками. Гнойник в брюшной полости, три операции. Палочка Коха, ещё неизвестный, коварный возбудитель туберкулеза, тот, который спустя немного унёс и Новалиса.

Дребезжит звонок в коридоре. Сергей Иванович, кудрявый, ароматный, в чёрной шапочке, в бородке клинышком, в седых усах над могучим носом, чрезвычайно довольный собой, восседает на председательском стуле. Минута тишины, перламутровое небо осени за квадратными, врезанными в толщу стены окнами. Сейчас задвигаются стулья, сейчас девушки поднимутся, очнувшись от гипноза, оправляя платья.

## ТАНГО. МАРИК ПОЖАРСКИЙ ЗНАКОМИТСЯ С РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Для некоторых обыденных вещей трудно подобрать название. Холл? В русском языке середины века этого слова

ещё не было. Вестибюль — тоже не годится, каждый филолог знает, что по смыслу корня это должно означать переднюю, где снимают верхнюю одежду.

В клубе никто не раздевался: холодно. Кучка девиц болтала в сторонке. Преподаватель опаздывал. Явился единственный молодой человек. Полчаса прошло; Марик Пожарский негодовал на себя за то, что затесался в бабью компанию; топтался в одиночестве; никто с ним не заговаривал, и сам он не проявлял желаний участвовать в разговоре. Наконец, вошёл, тяжело переставляя ноги между двумя палками, с замученным видом, ибо он вёл занятия во многих местах, руководитель, следом, в шубе, некогда котиковой, с папкой под мышкой плелась аккомпаниаторша. Все гурьбой поднялись по ступеням парадной лестницы мимо мраморного бюста со стихами в честь восшествия на престол государыни императрицы Елисаветы Петровны. В пустом зале блестел паркет; стали в кружок.

Полы шубы свисали с круглого винтового стула, пожилая дама прошла по клавишам, разминая пальцы. Нога из-под ветхой юбки коснулась педали. «И-и... начали!»

Пары неуклюже поворачивались. Дребезжал рояль. Преподаватель дирижировал, сидя в кресле. На предыдущих занятиях мы познакомились с бальными танцами. Теперь — танго. *Мне зима всё кажется маем.* (Раз-два — три). *И-и в снегу я вижу цветы!* Танго (только, ради Бога, не говорите: тангó), танго, сказал преподаватель, это танец одновременно и церемонный, и сугубо интимный. Танго заключает в себе мир человеческих отношений. Танго — южноамериканский танец и танцуется в очень строгом и остром ритме. Тáм! Татата-тáм. Та, т-тá! Шаг — и коротенькая пробежка. Длинный — и три коротких. И так далее, и так далее, и-и пробежка, и назад, и вперёд, и наклоняемся, и выпрямляемся! Смотреть на партнёршу, держать её, как держат вазу... Вокруг себя! Ба-альшой шаг. Три коротеньких. Стоп. Но так же не годится. Начинаем сначала — Розалия Юльевна, прошу. И-и!

Мне зима всё кажется маем.  
И в снегу я вижу цветы.  
Отчего, как в мае, сердце замирает?  
Знаю я, и знаешь ты.

Держите даму как полагается! Всё напрасно. Танец — диалог душ, любовная дуэль, в танце мужчина демонстрирует свою власть над женщиной, женщина незаметно властвует над мужчиной, — а где тут женщины, где тут мужчины? Девы топчутся, не попадают в такт. Преподаватель в кресле хлопает в ладоши. Скучная, как старая заводная кукла, Розалия Юльевна без конца повторяет одно и то же. *Мне весна всё кажется маем.* Какие слова! Серенада Солнечной долины. Упоительный фильм. И какой откровенный. Например, там есть одно место, когда она сидит в бочке с водой, ведь все знают, что на ней ничего нет. Впрочем, это, кажется, другой фильм. Девушка моей мечты. Эх, живут же люди.

Учитель хлопает в ладоши, перерыв. Бабуся добыла из недр шубы портсигар с махоркой, сладко закуривает.

В перерыве Марик Пожарский думает о том, что он никогда не научится танцевать, а ведь танцы — это самый удобный способ знакомиться с девушками. Странно, что он так неуклюж и непонятлив, разве у него нет чувства ритма? Все опять построились в кружок, преподаватель снова показывает руками, как и что. Поразительно в этих танцах то, что можно так, запросто обнять и, обнявшись, двигаться и кружиться, и при этом делать вид, что тебя не волнует магия прикосновений. Марик стоит, ожидая команды, его партнёрша, довольно толстая девушка с неподвижной физиономией, как будто окаменела в самообороне: он старается держать её крепче, как требует преподаватель, — главное, не уронить даму (да, попробуй-ка уронить эту колоду), — а она упирается ему в грудь, словно её хотят изнасиловать. Приготовились; и-и... И вдруг рядом с ними девица небольшого роста, по плечо Марику, остроглазая и остроносая, не поймёшь, красивая или уродливая. Бесцеремонно отодвинула

его партнёршу, пристроила руку Марика себе на талию. Её рука у него на плече. И раз, два-два, три! Раз, два-два... И поехали. Совсем другое дело. И в снегу я вижу цветы!

«Ноги мне не отдави...» — пробормотала она. Зачем ей школа танцев, она, оказывается, всё прекрасно умеет.

Обоим жарко. Её пальто валяется на стульях вдоль стены, не пальто, а пальтецо. Следующее занятие, м-м... — говорит преподаватель и перелистывает толстую растрёпанную записную книжку. Листки падают на пол. Он придвигает их к себе палкой. Девочки прыгают по ступенькам. Выглянули на улицу; сумрачно, хотя время всего лишь начало четвёртого, моросит холодный, безнадежный дождь.

С какого она факультета?

«Чего?»

У неё острый чёрный взгляд, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо тебя, худая, притягивающе-некрасивая, какой там факультет, она вовсе не из университета.

«Бр-р. Что будем делать?»

«Подождем».

«Он и через час не перестанет. Тебя как звать?.. А меня Клава. Проводишь меня, или как?»

Разумеется, после танцев кавалер обязан проводить даму.

«Неохота, что ль?» Она снова смотрит на него или мимо него.

«Нет, почему», — возразил Марик. Оказывается, эта Клава живёт где-то за Абельмановской заставой, у чёрта на рогах. Спустя час, продрогшие, они добегают до входа в женское общежитие, внутри на голых стенах бумажки, записки, выставка объявлений, посторонним вход строго воспрещается, не курить, окурки на пол не бросать, после десяти вход закрыт. Сторож-инвалид в валенках восседает за столиком, здорово, дядя Фома, — и, не мешкая, не оглядываясь, вверх по лестнице.

Комната вроде больничной палаты, в широком окне белёсый свет угасающего ноябрьского дня, койки с тумбочками, сумрачно, тепло, на стене гитара с голубой лентой, полукругом приколпленные открытки, фотографии, плака-

ты вместо картин, хитро-весёлый солдат в пилотке набекрень, с вещмешком и автоматом, сворачивает самокрутку, за спиной дорожный столб: «На Берлин». На другом плакате родные дали, трактора: все, как один, подпишемся на заём. У окна за столом три девы и пожилая тётка играли в подкидного.

Марик стоял на пороге, чувствуя себя в высшей степени не в своей тарелке. Клава словно забыла о нём, сбросив на ходу пальтишко, уселась на кровать, платье между коленками.

«Чайку бы...»

«Сама и ставь».

«Ты чего, тётъ Насть, со смены? Поесть чего-нибудь есть?»

«Ой, девоньки. Уж если везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт».

«С козырей пойти, что ли. С короля... А это кто ж будет?»

«Мой друг, ухажёр».

«Где эт-ты такого красивого подцепила».

«Красивого, да не про вас. — Подмигнув: — А, Маркуша?»

«Опять винни козыри. Ну что это такое».

«Коли везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт. Э-эх. — Потянувшись, Клаве: — Чего, уходить нам, что ли?»

«А мы занавеску повесим, да, Маркуш?.. Да сидите вы, так уж прямо... Ты, Марик, на них внимания не обращай».

«Может, с нами поделишься, хи-хи».

«Язык без костей. Что хочет, то лопочет. Он не из таких...»

«Да такой молоденький...»

«Он поэт. Ты ведь поэт? (Откуда она знает?) Чайку бы. Закоченела вся. А ты, тётъ Насть, со смены, что ль?»

«Да вы раздевайтесь. Тут и сесть негде».

«Я постою, — сказал Марик. — Мне вообще-то пора».

«Посидите». Пожилая отправилась за табуреткой. Клава вошла в комнату с чайником. «Ты отвернись, ишь уставился», — пробормотала она, отворила дверцу, стол поехал, по-

ехало зеркало шифоньера. Клава оказалась в уютном халатике. Карты сгребли в сторону. Явилась на свет из тумбочки белая головка. Явился батон, — живут же люди, — невиданной красоты колбаса, банка со шпротами, лучок, посреди стола жестяной чайник и на большой тарелке нечто почти сказочное: лоснящееся, нарезанное ломтиками сало.

«Ну, девы, я вам скажу...»

«Чего, снова?..»

«Снова не снова, а в общем... Эх, жисть».

«Не горюй, обойдётся».

Разлили водку по чашкам.

«Уф-ф. Вот проклятая. Да ты чего сидишь, Маркуша!

Сальцом закуси».

«Кушайте на здоровье, как вас по отчеству-то».

Сидели, вздыхали.

«Чего, девы, может, споём. Вот кто-то с горочки спустил ся. Наверно, милый мой идёт... Когда б имел золотые горы и реки полныя вина!»

Все в отчаянии подхватили:

«Всё отдал бы за ласки, взоры!»

## ОБЛИК ЖЕНЩИНЫ

Гость старался не отставать от всех; тётя Настя вышла и не возвращалась; он пересел с табуретки на её стул. Клавдия пересела поближе. На столе воздвиглась вторая бутылка. Марик уже не стеснялся, поглощал всё подряд, мутно поглядывал на соседку. Поистине Клава обладала искусством как-то так устроить, чтобы казалось, что всему так и положено быть: всё было само собой разумеющимся, и знакомство, и этот пир, не надо было ничего объяснять, словно они давно знали друг друга; стало уютно, весело, он испытывал симпатию к этим девушкам, не отличая одну от другой; и они отвечали ему дружеским снисхождением, грубоватым теплом простых женщин. Между тем что-то незаметно совершалось в оловянных сумерках, в сгустившемся воздухе, когда на улицах дрожат и вспыхивают дуговые фонари, бле-

стят лужи и город зовёт и обещает головокружительное приключение. Если бы Марик Пожарский умел разбираться в самом себе, он осознал бы перемену; пока что он мог лишь её почувствовать. Марик научился видеть женщину — искусство не менее сложное, чем умение ходить. Чему он не научился, так это понимать женскую душу, но этот талант был просто ему не дан — и к лучшему: она осталась интригующей, чарующей загадкой.

Зато он прозрел. Близорукий надел очки: на месте облачного целого предстали подробности. Он видел причёску, одежду, поворот головы, тонкую, как у подростка шею, тонкие руки в широких завёрнутых рукавах домашнего халата, угадывал очертания бёдер и даже чувствовал их прикосновение к своему бедру; угадывал и то, другое, что было прикрито одеждой. Клава была (как уже упоминалось) небольшого росточка, бледная, щуплая, с ямкой между ключицами, с крошечной грудью, с блестящими, как антрацит, неуловимо косящими глазами, отчего казалось, что она смотрит и на тебя, и не на тебя, и то, что она не была хороша собой, не портило Клаву, а наоборот, звало и обещало, и оттого вдруг стало так весело! Марик развалился на стуле, рубил кулаком, читал, завывая, стихи. Девы сидели молча, пригрюнившись.

Сперва предгрозовое напряжение,  
Листвы предчувственная дрожь.  
От немоты, от головокруженья,  
От белых молний невтерпёж.  
Потом лозняк, заломленный жестоко,  
Багровый свет то тут, то там,  
И шелест трав, как медный шелест тока,  
Летящего по проводам.

Марик читал стихи, где говорилось о дорогах и закатах, о лесах, о природе, которой не существовало в этом городе каменных дворов, подворотен, мусорных ящиков, трамвайных рельс, булыжника и брусчатки.

Ноябрь — и в эту пору года  
Почти весенняя погода!  
И пахнет тополиным цветом  
В лесу — совсем как перед летом.  
Но что-то общее с весной  
Стряслось не с лесом, а со мной:  
Ударило хмельным и талым,  
Как веткой, по рукам усталым,  
Дохнуло тайною в лицо...

Он остановился. Девы ждали. «Забыл», — сказал Марик. Он задумался. Комната — тёмный аквариум, мерцающий зеленоватыми огнями за окном. Бледное лицо Клавьи... Давно остыл чай. Марик читал...

Загорается солнце над стыком дорог,  
Никогда ты не ступишь на этот порог.  
Плещет платью твоё на холодном ветру,  
Плещет платью твоё на весеннем ветру,  
Обнажая изваянность ног.  
Уходи поскорей и меня не жалея,  
Мне не надо на память прощальных речей...<sup>1</sup>

## НЕЧТО НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ

К концу чтения оказалось, что они в комнате остались вдвоём. Пустые койки, плакаты, будильники на тумбочках — тусклый отблеск никеля и стекла. Клава вставала, садилась, не зажигала свет, поила крепким чаем.

«А они, — спросил Марик, — куда же они?..»

«Девчонки? Придут... Да, — проговорила она, кулачком подперев щеку, — здорово у тебя получается. Кто это, в платье? Небось, подружка твоя?»

Поэт подвигал бровями, глядел в пространство.

«Поссорились, что ль?.. А у тебя вообще-то кто-нибудь есть?»

---

<sup>1</sup> Стихи Якова Серпина.

Марик не то кивнул, не то помотал головой, и ничего не ответил. Она вздохнула, покосившись на будильник: «Мне скоро пора...»

«На фабрику?» — спросил он.

«Чего? Ну да, на фабрику».

Марик думал: никого нет, пора приступать. Обнять её, что ли. Оказалось, что и это как будто подразумевалось само собой; она сказала, усмехаясь:

«Посидели, выпили, время ещё есть. Пора в кроватку, а?»

Марик несколько растерялся.

Она окинула его взглядом, отвела глаза.

«Это я так, шучу... — И продолжала, задумчиво глядя перед собой: — А я — что такого... я, может, и не против. Думаешь, я бы к тебе подошла, если бы ты мне не нравился...»

Марик прочистил горло. Можно сказать, мысленно засучил рукава. «Может, зажжём свет», — сказала Клава, вставая. Подошла к двери и щёлкнула выключателем. Брызнул свет над столом. Рюмки, чашки, тарелки с объедками. Она села рядом, зябко запахнула ворот халата на шее. «Тут такое дело. Мне сегодня нельзя».

«Почему?»

«Ну... войдёт кто-нибудь».

«А мы закрём дверь!» — сказал Марик.

«Всё равно нельзя. У меня краски идут».

Марик воззрился на неё.

«Ну, какие бывают у баб. — Вздохнув, оглядела стол. — Может, допьём?»

Она разлила сомнительный напиток по чашкам, вдумчиво выпила, и Марик, преодолевая отвращение, последовал её примеру.

«На-ка вот, закуси...»

«А ты?»

«Я не закусываю. Я, вообще-то, особо так не выпиваю. У меня папаня пил по-чёрному, сгорел от водки... Я ведь дальняя. Пермячка, слышал про таких?»

«Коми?» — спросил он.

«Во, сразу видно образованного. Коми-пермяцкий округ, я ведь тоже грамотная. Семилетку окончила, надо куда-то дальше подаваться. Наши девчонки все разъехались, кто в Молотов, кто куда. А я в Москву на производство завербовалась. Сперва в Мытищах, потом ещё в одном месте. Теперь вот здесь...»

«Ну, и как?» — спросил Марик, чтобы что-нибудь сказать.

«Да никак. Мотаюсь по общежитиям».

Она остро взглянула на него, непонятно, в глаза или мимо.

«Я тебе неправду сказала. Насчёт кровей...»

«Они, наверно, сейчас придут».

«Кто, девчонки? Они у меня порядок знают. — Она добавила: — Ты не горюй».

«А я не горюю», — сказал Марик уныло.

«Ну, я в том смысле, что... — Вздохнула. — Хочешь меня поиметь, да?»

Её ладони коснулись халата, нащупали и приподняли то, что не могло быть ничем другим, как грудью.

«Тогда... — сказал он, запинаясь, — в чём же дело?»

«В чём дело... Да ни в чём. Постой, я ещё не досказала. Я тебе что хочу сказать. Ты пьяный, забудешь. И хорошо что забудешь. Ну, в общем, ни на какой фабрике я не работаю. Спасибо, добрые люди нашлись, не выгоняют. Конечно, за деньги. В Москве без денег ни шагу, а где их взять. За станком много-то не зарабатываешь. А я молодая, мне и того хочется, и того, и чтобы надеть что-нибудь приличное, и покушать. Я пирожные страсть как люблю. Трубочки с кремом: когда-нибудь пробовал?»

«До войны, наверно».

«Ерунда всё это. Ты меня не очень-то слушай, могу и сбрехнуть. Ну, в общем, — проговорила она, вертя в руках пустую чашку, — не хотела тебе говорить, уж больно ты...»

«Что я?»

«Беззащитный. Потом думаю, нехорошо обманывать. А там уж как получится. Ха-ха! — Она вдруг рассмеялась, встала из-за стола. — Друг ты мой любезный. Али не догадался?»

Она встала. Она открыла дверцу шкафа, вынимала и разглядывала платья на плечиках.

«Не догадался, — бормотала она, словно пела тихонько про себя, — не догадался... Да они тебе всё равно скажут. Или не придёшь больше?»

Натянула на руку шёлковый чулок, нет ли дырки.

«Уеду. Брошу всё и уеду. У меня сестра двоюродная в Молотове... Авось там не пропаду... Надоели вы мне все!»

«Кто надоел?»

«Все. Погуляю ещё немного, и... Ну чего смотришь, — сказала она грубо, — баб не видал, что ли... Мне переодеться надо. А вообще-то можешь смотреть, чего там. Смотреть-то нечего...»

Она стояла перед зеркальной створкой, вышла на середину комнаты, в проход между койками, покачиваясь на высоких каблуках.

С торжеством: «Ну, как?».

На ней было короткое цветастое платье с широкими накладными плечами, в ушах клипсы, губы в кроваво-красной помаде, короткая стрижка заколота сверху нелепой яркой прищепкой.

Вытащила откуда-то шубку не шубку, накидку не накидку, из рыжего меха.

«Ты вот что. Ты меня не провожай».

## ЗАБЫТЫЙ БРАТ, ИЛИ РАДОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

*Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, продекламировал Фёдор Владимирович Данцигер, озирая с крыльца убогую окрестность. Однако на скуку он не жаловался и вообще не имел оснований быть недовольным своей жизнью. Философскую базу возвращения на родину он построил, сражаясь за истину в рядах евразийства еще в двадцатые, еще в тридцатые годы, что же касается материальной базы, то на деньги, какие удалось скопить и привез-*

ти с собой, он отремонтировал избу, переложили печь, покрыли крышу железом, повесили новые наличники. Завязались знакомства, начальство не тревожило — возможно, получило указания, а главным образом оттого, что было польщено: осуществив старинный, славный завет опрощения, завет дворянства и русской интеллигенции, облачившись в толстовку, а то и просто в длинную, до колен, подпоясанную рубаху, в замызганных сапогах, в народном картузе, с сивой развевающейся бородой, Фёдор Владимирович стал легендарной личностью в округе. Кто он и откуда, толком никто не знал, известно было — большой человек, а в то же время негордый, не зазнаётся, умеет уважить каждого. Разнёсся слух, что он здешнего корня, чуть ли не бывший помещик, но и это лишь прибавило славы Фёдору Владимировичу. Случалось, и районные чины заезжали к нему на поклон. И всё шло чинно, путём, не торопясь, как оно шло спокон веку в глубинной, невозмутимой, как морское дно, России.

По утрам Фёдор Владимирович, голый до пояса, делал гимнастику в огороде, затем, пофырвав в сених перед рукомыльником со студёной водой, утёршись грубым серым полотенцем, напяливая рубаху, входил в избу, крестился на образа в красном углу, отрывал листок календаря, подтягивал гири часов-ходиков и, пыхтя, сопя, протискивался за чисто выскобленный стол к самовару. Кто-то тем временем деликатно стучал в окошко. Марья Кондратьевна отмахивалась: «Небось подождёшь... успеется». Это ходил по улице вдоль домов колхозный бригадир, сзывал на работу. Она была женщина крепкая, степенная; где-то в городе проживали её взрослые дети, сама же она как бы остановилась между сорока и шестидесятью годами — ни единого седого волоска, на щеках тёмный румянец. По субботам, в полутёмной, пахнущей сырým гнильём, мылом и берёзовым листом деревенской бане оба являли зрелище ветхозаветной супружеской пары: она невысокая, белокожая, крупнозадая, с маленькой отвисшей грудью и крепкими плечами — и он, большой, пузатый, поросший седым волосом, с крестиком

между грудями, с остатками белых кудрей вокруг голого черепа, с фамильным мясистым носом и могучей шеей, всё ещё пышущий здоровьем и жизнелюбием. Баня в представлении Фёдора Владимировича была не просто гигиеническим мероприятием, баня — символ вечно обновляющегося бытия, залог здоровья мистического народного тела. В колхозе Фёдор Владимирович не числился, да и странно было бы гнать его на работу, Марья же Кондратьевна, убрав со стола, отправлялась часика на два, чтобы не придирались, зато усердно и долго копалась у себя в огороде, на четырёх сотках приусадебного участка.

Фёдор Владимирович из всей своей парижской библиотеки сохранил лишь горячо любимого им Пушкина, семейную Библию, «Pensées»<sup>1</sup> Паскаля, несколько разрозненных томов «Истории России» Сергея Соловьёва, «Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der russischen Revolution»<sup>2</sup> с витиеватой дарственной надписью автора, Фёдора Августовича Степуна, старого друга и непримиримого оппонента, товарища по судьбам, по изгнанию... Да ещё томик возлюбленного Новалиса, да ещё Ницше, теперь совершенно ненужного. Везти книги с собой было небезопасно, — всё-таки, знаете ли, атеистическое государство, — он переправил их с помощью приятеля-дипломата, но для работы, в сущности, не требовалось ничего, необходимые цитаты он помнил наизусть.

Весь план книги был в голове. Фёдор Владимирович сидел за столом среди вороха листков, из которых немногие были исписаны сплошь его длинным наклонным почерком, а большей частью представляли собой короткие разрозненные заметки, иногда три-четыре строки: ключевые слова, догадки, озарения, ответы воображаемому оппоненту; были даже странные чертежи, кружки и символы, магический мasonicкий треугольник и два треугольника один на другом — щит Давида. Наконец, были рисунки. Немало бы подивился

---

<sup>1</sup> Мысли (фр.)

<sup>2</sup> Лик России и лицо русской революции (нем.)

биограф, поломал бы голову, увидев листок с искусно выполненной пером и цветными карандашами дородной обнажённой дамой; ко лбу, к локонам, глазам, соскам, к ямке пупка и широкому лону тянулись стрелки, поясняя значение этих ориентиров; то было символическое изображение праматери Евы — она же София, Вечная Женственность и Четвёртая ипостась; она же и православная Русь; таково было прозрение таинственной связи христианского тела России с космогоническим эросом.

Всё это, выношенное и обдуманное, теперь предстояло связать и свести воедино. Фёдор Владимирович Данцигер не был, конечно, столь наивен, чтобы рассчитывать на прижизненную публикацию своего труда. Но мало ли мы знаем творений русского гения, дожидавшихся десятками лет своего часа и в конце концов дождавшихся. И кто знает, не накопит ли выдержанное вино полный букет, не окажется ли книга особенно созвучной подрастающему поколению, племени младому незнакомому. Но прежде следовало набросать предисловие. *Благосклонный читатель, — писал Фёдор Владимирович, — возможно, помнит то место в “Мёртвых Душах”, где помещик Тентетников раздумывает над сочинением, которое — дадим слово Гоголю — “долженствовало обнять Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить её будущность”. Было бы самодеятельным, в наш век специализации и неизбежно связанного с ней дробления знаний, предлагать нечто подобное, однако надеюсь, что труд наш не обманет ожиданий читателя, который взыскует единой универсальной истины, ищет обобщающего слова, жаждет синтеза...*

В эту минуту (поглядывая в окошко между горшками цветов на деревенскую улицу со следами протарахтевшего трактора, на полуобвалившийся плетень, за которым, на той стороне, стоял никому не принадлежавший сарай и простиралась пустошь, некогда бывшая овощным полем) он подумал, что нигде, ни в постылой Франции, ни в околешней под

бомбами Германии не сумел бы исполнить свой долг мыслителя, патриота и христианина, — ни даже в российских столицах. Только здесь, на дне и в сердцевине. Здесь, Бог даст, он и окончит свои дни. Он вспомнил слова Гарденберга-Новалиса: человек есть источник аналогий во Вселенной. Вспомнил фразу Гёте о том, что, если следовать путём аналогий, то всё окажется в конечном счёте тождественным. И снова Новалис: когда физическое нисхождение по ступеням чувственного влечения достигает оргазма — совершается восхождение духа до экстаза. «Смысл и символика чувственности» — так должен был называться один из разделов имеющего явиться на свет всеобъемлющего труда.

Однажды он умрёт от разрыва сердца здесь, среди снегов. В жарко натопленной бане, на груди у Марьи Кондратьевны, в мягких, цепких объятиях родины, в смертной судороге, на высоте неслыханного наслаждения.

## НЕКТО ГЕННАДИЙ

Он писал дальше.

Эта страна всегда вызывала у иностранцев удивление, недоумение, восхищение, озабоченность, а подчас и ненависть, и вражду; никто, однако, не оставался равнодушным к этой стране; и постоянство этих эмоций, беспокойное внимание, которое она привлекала к себе на протяжении веков, сами по себе наводят на мысль, что в смене эпох, в череде невзгод и триумфов Россия хранила в себе нечто таинственное, незыблемое и непоколебимое, некое ядро, великую надисторическую идею. Настало время раскрыть эту идею.

Ближе к полудню Фёдор Владимирович покидал рабочий стол, запахивался в плащ, больше похожий на армяк, и во всякую погоду, в зной и дождь, с палкой в руке, в широкополой ветхой шляпе отправлялся бродить по некошеным лугам. Шагал по меже одичавшего поля, по шаткому мостику перебирался через тихую, тенистую речку, усаживался на старый пенёк где-нибудь на лесной опушке, у непрорыхающей колеи. Когда он возвращался, хозяйка уже хлопотала у

плиты. По субботам в полукруглом чёрном зеве русской печи, в «печи огненной», как шутил Фёдор Владимирович, полыхали берёзовые поленья, Марья Кондратьевна, с раннего утра на ногах, в рукавицах, в оранжевом зареве, сгребала длинной кочергой алые угли, отставив кочергу, отвернув лицо от жара, вдвигала внутрь противни с бледно-желтыми лоснящимися пирогами. Уму непостижимо, откуда всё бралось в обезлюдевшей, Богом забытой деревне. В полдень, воротившись из бани, румяный и ублаженный, философ восседал за столом.

Приходил Геша, Геннадий, кем-то приходившийся Марье Кондратьевне — брат не брат, седьмая вода на киселе; «повадился», как она говорила; но Фёдор Владимирович был ему рад, охотно беседовал, больше говорил сам. Хозяйка ставила на стол блюдо с оранжевыми глыбами пирога с капустой, с печёнкой, с грибами, являлся на Божий свет пузатый графинчик, зелёный лучок, хлеб из сельпо, так называемый серый, нарезанный крупными ломтями; наконец, несомая обеими руками в чугунной сковороде, шипящая и журчащая яичница с салом. Опять же загадка: ни разу в далеких своих прогулках, проходя мимо человеческого жилья, Фёдор Владимирович Данцигер не слышал ни блянья, ни хрюканья; откуда этакое яства?

Как видно, любознательный Геннадий питал особенную симпатию к Фёдору Владимировичу, тут начинались расспросы о Париже (тема, никогда и ни с кем не обсуждавшаяся), о француженках и французах, которых Геннадий называл «сифилистиками» (философ пожимал плечами), разглядывание книжек, фотографий, следовали подробные объяснения, что и как. Тут подвыпивший Фёдор Владимирович ощущал себя в двойной роли неоплатного должника перед народом и наставника нищих духом. Полный вдохновения, цитировал Тютчева. *Эти бедные селенья. Край родной благословенья.* Сам Христос посетил эту землю. Так оно и шло; потом вдруг этот Геннадий пропал, больше не появлялся, а немного спустя, в одно тёплое осеннее утро, как раз когда Фёдор Владимирович в шляпе и армяке собрался на

прогулку, слышалось стрекотанье мотоцикла. Человек в шлеме и крагах остановил свой экипаж, пригласил сесть в коляску. Фёдора Владимировича Данцигера вызывали в районное отделение милиции. Отделение милиции, зачем? «А насчёт прописки». — «Какая прописка? Меня в сельсовете заверили...» — «То сельсовет, а то район. Да вы не беспокойтесь, сегодня же и вернёмся». Он не вернулся ни сегодня, ни на другой день, книги его забрали, бумаги сожгли, Кондратьевне сообщили, что никто у неё не квартировал. Вообще никакого Фёдора Владимировича, как ей объяснили, никогда в природе не существовало.

## ТОВАРИЩ ДАНЦИГЕР

Где причина, где следствие? Мы становимся жертвой дурной игры слов. Ибо следствие, если и происходило, то не было следствием, какое же это следствие, если всё решено заранее — задолго, может быть, до ареста. Причина же, если считать причиной негодяя Геннадия, тоже, если вдуматься, не была причиной; истинной причиной был сам философ, а из неё уже вытекал Геннадий, или вообще неважно кто. Приходится, стало быть, пересмотреть правомерность этих понятий, — а лучше сказать, приходится отказаться от причинно-следственного образа мыслей.

Заблуждением, пережитком этого образа мыслей было бы думать, что крушение старшего брата стало причиной неприятностей для младшего, и таким же заблуждением будет обратный вывод — что гибель Фёдора Владимировича была следствием крушения Сергея Ивановича. Ибо на самом деле судьба Данцигера-младшего — или, как он теперь именовался, «товарища Данцигера» — невидимо и неслышно, как червь в яблоке, зрела в нем самом, дожидаясь своего часа, и никто этот час не мог предсказать.

Таинственна, причудлива судьба слов. Профессор Данцигер с удовольствием побеседовал бы на эту тему. Старинное слово, предположительно тюркского корня, завалявшееся на антресолях языка, зацвело новой жизнью после революции, *наше слово гордое — товарищ*; но как-то неза-

метно это цветение стало издавать недобрый запах; всё сильней от него тянуло покойницей. И вот, наконец, оно съехало в разряд вокабул, которыми лучше не пользоваться. *Товарищ Данцигер, некоторые товарищи...* — тут слышалось нечто отнюдь не товарищеское, несло чем-то другим, и те, к кому с этим словом обращались, чуяли в нём недобрый знак. Заседание, на котором присутствовал только один беспартийный товарищ, увы, это был он сам, открылось кратким вступительным словом секретаря комитета. Слепой гипсовый лоб в углу на тумбе, вода в графине, портрет Вождя на стене — все как положено; и Сергей Иванович в качестве лица всё ещё уважаемого помещался тут же за председательским столом, с торжественно-насупленным видом, как на рыбалке или как за красным столом президиума, в предвкушении своей миссии, чтобы подняться и объявить о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с... — и шквал рукоплесканий. *Разрешите считать ваши аплодисменты знаком согласия.* И снова овации. Но сейчас никакого почётного президиума избирать не предполагалось, и неясно было, для чего понадобилось присутствие профессора Данцигера.

Секретарь партийного комитета выступил в свете недавних решений, указал на необходимость борьбы с проявлениями низкопоклонства перед Западом, попытками принизить всемирно-историческое значение великой русской литературы. Пока всё шло на верхних регистрах общих фраз, можно было предположить, что заседание созвано с формальной целью откликнуться на историческое постановление. Постепенно он подъехал к главному. Всё ещё не говорилось, в чём именно состоит это главное, речь напоминала игру в «холодно» и «горячо», и слушатели угадывали постепенное повышение температуры. Ага... вот в чём дело. Вопрос стоит, сказал секретарь, о ненормальной обстановке, сложившейся на кафедре западной литературы. Кто хочет высказаться?

*De te fabula narratur*<sup>1</sup>, сказал себе профессор Данцигер, при этом он моргал, как филин, и поглядывал на сидящих.

---

<sup>1</sup> О тебе сказка сказывается (*лат.*).

Можно ли было этот «вопрос», вообще всё это считать неожиданностью? Едва ли. Верный все той же, изжившей себя традиции каузального мышления, он и теперь подозревал за кулисами спектакля интриги завистников. Так оно и есть, — Сергей Иванович почувствовал странное удовлетворение, — парторг обратил выжидательный взор на сидевшего в первом в ряду стульев аспиранта N, тот поспешно поднялся, начал было говорить, но секретарь прервал его, мягко сказав: «Прошу лицом к товарищам», и повернул жестом к присутствующим. Аспирант, личность малоинтересная, не пользовался симпатиями заведующего кафедрой, так что налицо был личный момент. Присутствующие так и подумали. Аспирант был уже не молод, лысоват, изглодан жизнью; приехал из Тьмутаракани, проживал в общежитии с женой и ребёнком, мотался в поисках молока и выстаивал очереди в детской поликлинике, — а тут розовые щечки, холеная борода, дворянский прононс, тут подчеркнутая учтивость, на самом деле издевательская, хуже всякого хамства; чему же удивляться? Аспирант успел побыть в аспирантуре положенный срок без результата, получил продление срока, сменил тему диссертации, снова ничего не сделано, и ведь не скажешь, что лентяй, просто ничего не получалось. Становилось ясно, что держать его на кафедре дальше невозможно, в неких инстанциях возникла заминка, невидимые руки, державшие его, разошлись как бы в недоумении, встал вопрос о направлении по путёвке партии в колхоз, председателем. Но тут представился последний шанс. Аспирант N прочистил горло, заглянул в заготовленную бумажку. Заведующий кафедрой Сергей Иванович с тусклым любопытством, открыв рот и как-то особенно часто хлопая глазами, взирал на стоявшего к нему спиной аспиранта, который нёс околесицу, мямлил невразумительное, однако постепенно приободрился, хотя всё ещё обращался неизвестно к кому. Сергей Иванович слегка поднял брови, уловив, наконец, то, чего следовало ожидать, чего ждали и другие, а именно, что речь шла конкретно о нём; аспирант назвал его «товарищ Данцигер», а о себе говорил: «мы, молодые учёные», и

этим, собственно, всё уже было сказано и доказано; всё, что последовало за этим, — о горячей благодарности парткому, который вовремя обратил внимание, о том, что старшие товарищи поправят выступающего, если он в чем-то неправ, но что совесть коммуниста требует от него сказать правду, — было ритуальным украшением, необходимым гарниром к товарищу Данцигеру. Великое достоинство ритуала состоит в том, что он освобождает участников от сомнений; так игра на сцене не возлагает на актёров ответственности за содержание пьесы.

Однако... однако хорошая пьеса всегда включает в себе элемент неожиданности. Покончив с аспирантом, секретарь парткома оглядел собравшихся, очевидно, рассчитывая на других добровольцев. Собственно, второй доброволец был предусмотрен. Предполагалось, по сценарию, что выступит с критикой своего шефа доцент Капустин. Но он вдруг заболел.

Поднял руку член бюро Юрий Иванов. Секретарь парткома был приятно удивлён, кивнул, показывая, что одобряет инициативу. Иванов неуклюже поднялся с места, снял пенсне, надел, оглядел присутствующих. И произнёс что-то несуразное. Секретарь не верил своим ушам. И никто не верил. Иванов сказал, что не понимает, в чём дело.

Что значит не понимает, сухо спросил секретарь.

Иванов сказал, что борьба с низкопоклонством нужна и необходима, всем известно значение великой русской литературы. Тут ожидалось, что он добавит: и самой передовой в мире советской литературы. Он не добавил, видимо, забыл. Мировое значение, повторил Иванов. Но ведь кафедра-то — не русской, а западной, романо-германской литературы, почему же профессор Сергей Иванович, «которого мы все знаем...» Он хотел продолжать, парторг смотрел на него длинным парализующим взглядом. «Конечно, знаем!» — веско сказал парторг. «Я как коммунист...» — начал было снова Иванов, но секретарь комитета больше на него не смотрел. Увидев, что Иванов всё ещё стоит, он сказал: «Вы можете садиться». Иванов впился в него взглядом, видимо, сдержи-

вая нахлынувшую ярость, секретарь вздохнул и оглядел стены комнаты поверх голов. Не хочет ли ещё кто-нибудь из товарищей высказаться? Никто высказаться не пожелал. После скучного выступления аспиранта N эпизод с Ивановым развлек присутствующих. Все молчали. Сам Сергей Иванович безмолвно глядел на своего студента, слегка подняв седые брови, моргал глазами филина, непонятно было (и сам не мог понять), одобрял он или осуждал неожиданный демарш. Потом опустил голову, чмокнул губами, как бы сказав: «Так!», сокрушённо кивнул и неслышно побарабанил пальцами по столу.

Предполагалось, что наступила его очередь. Секретарь повернётся к Сергею Ивановичу (тот всё ещё пребывал в задумчивости) и произнесёт: «Может быть, профессор Данцигер сам объяснит...» И все как будто уже услышали его покаянное слово. Вот он поднимается... то есть еще не встал, но сейчас поднимется и скажет, что с большим вниманием выслушал критику товарищей и коллег. Строго, с принципиальных позиций, наедине со своей совестью проанализировал свои ошибки. Сейчас... да, сейчас парторг предоставит слово для выступления товарищу Сергею Ивановичу Данцигеру, профессор Данцигер встанет и негромко, с достоинством прочистит голос. И, Бог даст, всё обойдётся. Профессор, однако, не встал и не просил слова. Вообще это был день сюрпризов. Секретарь, выдержав паузу, траурным голосом сказал, что обязан довести до сведения товарищей — в партком поступили сведения, проливающие новый свет.

Как теперь стало известно, профессор Данцигер долгие годы скрывал, что у него имеется брат белоэмигрант, окопавшийся в Париже, активный противник народной власти. Некоторое время тому назад он заявил о своём якобы раскаянии. Советское правительство разрешило ему вернуться на родину. Как теперь стало известно, этот человек, по происхождению немец, с которым профессор Данцигер все эти годы находился в постоянном контакте, разоблачён как агент одной из иностранных разведок. Профессор Данцигер скрыл и это. Думается, что необходимо — как минимум, до-

бавил секретарь, — поставить вопрос об освобождении Данцигера от обязанностей заведующего кафедрой и его дальнейшем пребывании в университете.

## О ЧЁМ ОН ДУМАЛ. О ЧЁМ ВООБЩЕ ДУМАЮТ ЛЮДИ

Для Софьи Яковлевны это будет страшный удар, ведь она ни о чём не подозревает. Надо было предупредить. Но о чём, разве я ждал чего-либо подобного? — думал профессор Данцигер.

Ждал, конечно. К этому шло... Вопрос в том, следствие ли это общей обстановки. Или просто махинации. По-видимому, и то, и другое. Интриги, зависть, закулисная возня — всё это было и будет всегда, а уж в академическом мире... — я-то этот мир хорошо знаю. Но обстановка поощряет. Обстановка вдохновляет вот таких ничтожеств, — он взглянул на аспиранта. Боже мой, разве я ему помеха? Наоборот, и в этом всё дело. Я для него спасательный круг. На мне он может выплыть, во всяком случае продержаться на плаву.

Профессор Данцигер прислушивался к тому, что говорили выступавшие, сначала секретарь, потом этот жалкий, внушающий сострадание, которого навязали ему в аспиранты, — прислушивался, почти не слушая, улавливая ключевые слова, как слепой идёт дорогой своих дум и забот, движениями посоха контролируя ситуацию. Профессору Данцигеру стало скучно: если уж на то пошло, он всё знал заранее. Хоть и надеялся до последней минуты, что «это» его минует. Что — «это»?

Классовая ненависть, ответил он сам себе, *c'est le mot*<sup>1</sup>. Карлхен был прав. (Так он про себя называл некоего обобщённого Маркса.) Классовая ненависть, размышлял профессор Данцигер, есть необходимое следствие классовой солидарности, ведь в конце концов секретарь и этот аспирант — одного поля ягоды. Ненависть варваров к эллину, к касталийцу.

---

<sup>1</sup> Вот именно (*фр.*).

Нет, мы не зря (кто это — мы? Мы, старая профессура, те, кто остался. Кто хотел искренне сотрудничать с народной властью, да, народной, а вы как думали?), не зря признали правоту марксизма, ни в одной стране жизнь не давала столько доказательств этой правоты, как у нас. Спуститесь на землю! Жизнь проще, грубее, прямолинейней, чем вы думали. Пока вы там плавали в мистических облаках, как брат Фёдор. Когда же это я получил от Феди последний раз весточку, думал Сергей Иванович. Он прислал её с оказией...

Ах, какая неосторожность. Удивительно, но ему удалось поселиться недалеко от бывшего имения мамы. Мы оба молчаливо согласились, что нет необходимости поддерживать регулярную связь — по крайней мере, пока я заведую кафедрой.

Монография почти готова, на русском языке ещё не было столь глубокой, столь обстоятельной работы об иенском кружке, — такое множество новых наблюдений, фактов, приведённых в связь и освещённых по-новому, такая точность и яркость портретов — поистине коронный труд его жизни. Да, уж это точно: не было и не предвидится, — он вздохнул, кивая своим мыслям. Разве что в Ленинграде Берковский. Но тоже, знаете ли. Новое поколение. Куда им, дай Бог, чтобы освоили азы. Так что придётся пока попридержаться. Пока вся эта муть осядет...

На докладе в Академии Сергею Ивановичу ставили вину недостаток идеологического обоснования. И одновременно — как это ни комично — чрезмерную идеологизацию. Кто-то договорился до обвинений в вульгарном социологизме. Но, помилуйте. Развенчание шаблонов, пресловутой *poésie de la nuit et du tombeau*<sup>1</sup>, а заодно и развенчание романтических представлений о самих романтиках — см., например, мой комментарий к Песне мёртвых у Новалиса — всё основано на серьёзном анализе, всё это, господа, наука,

---

<sup>1</sup> Поэзии ночи и могилы (*фр.*).

отнюдь не идеология. Во всяком случае, не та. От которой, кстати сказать (Klammer auf, Klammer zu<sup>1</sup>), вообще мало что осталось. Эта идеология попросту свелась к цитатам. Вам нужны цитаты? Ради Бога! Разве я не ссылаюсь в предисловии на... В сущности, война её добила. Да оно и понятно: старая легитимация обветшала, нужна новая. Да, подумал профессор Данцигер, надо было предупредить Соню, что этим пахнет, подготовить её... А может быть, надо было вообще уехать, тогда же, сразу после того, как выслали Федю. Тогда ещё было возможно. Нет, это смешно, да и что бы я стал там делать. То же, что другие. Нет, это смешно. Другое дело, нужна ли вообще какая бы то ни было идеология историку, в данном случае историку литературы. Не ведёт ли она к злоупотреблению историей. Скажем прямо, еретический вопрос; и тем не менее. Ага, снова о космополитизме. Намёк на мою фамилию? Господи, какой я немец? И что они знают о космополитизме — они извратили это слово. В устах Гёте оно звучало иначе.

Что и говорить, приятная неожиданность: ведь все думали, что этот фронтовик присоединится. Господи, неужели он не понимает. Бедный молодой человек. Теперь у него тоже будут неприятности. Ну-с, а теперь следующий номер нашей программы — покаянное слово г-на профессора. Между прочим, если вдуматься, то ведь они правы. На свой лад, конечно. Варвары правы по-своему. Прежняя легитимация себя изжила, нужна новая. И она может быть только национальной. Даже, если хотите, националистической. Пусть это делается топорно, но суть... Боже мой, разве я не доказал, что люблю Россию, когда отказался уйти в эмиграцию.

А-а, вот оно что. Только, ради Бога, сохранить спокойствие. Встать и сказать... что сказать? Он мне и слова-то не даёт. Всё равно как если бы сказали — у тебя неоперабельный рак. Даже ещё хуже. Бедная Соня. Они таки добрались до Фёдора. Чёрт его дёрнул вернуться. Что он, не понимал, ка-

---

<sup>1</sup> Открыть и закрыть скобки (нем.).

кая это страна; что она провалилась, вслед за Германией, в какую-то другую историю — древнюю, среднюю или, может быть, ультрасовременную? Агент... нет, как вам это нравится? Это Федя-то, думал (или мог думать) профессор и без пяти минут академик Сергей Иванович Данцигер. Думал — или мог думать — и вечером, сидя перед молчащей Софьей Яковлевной, и на следующий, и через неделю, когда уже не оставалось сомнений, что ночью позвонят в дверь и скажут: «Проверка паспортов». Обычная формула. И предъявят ордер на арест.

## И НАШИХ ПЕСЕН ЗВОНКИЕ СЛОВА

«Много чего было. Я, когда в Мытищах жила, совсем замаялась. Меня на шёлкопрядильную фабрику определили, в ночную смену, а туда ездить надо — полтора часа туда, полтора обратно. Ну, думаю, я тут помру, куда деваться? Представь, нашла одно место. Оформили мне увольнение, по болезни. Давай выпьем».

«Короче говоря, к людям пошла работать, к одному начальнику. Квартира, я тебе скажу, прямо дворец. Полы паркетные, полотёр приходит. Мебель вся из Германии. Три комнаты: в одной они двое, в другой парень ихний, а третья гостиная. Да ещё кладовка, я там и спала. Всё делала: и готовила, и убирала, и за бабкой ухаживала. Наобещали мне три короба, прописку постоянную, то, сё. А зарплату не платят. Два месяца прошло, я спрашиваю, как, мол, насчёт денег. Ах, ах, извиняемся, много расходов, вот муж получит, отдадим. Ладно, жду, ещё неделя проходит, другая, бабка мне говорит, а была как раз суббота: мы тебя отпускаем сегодня пораньше. С зарплатой задержались, ты уж прости, вот тебе за два месяца. Я говорю: спасибо. Приезжаю, мне девчонки говорят: а ты новость знаешь? Завтра реформа. Только это пока что секрет. Какая реформа? Денежная, один к десяти. И верно: наутро объявляют. А у меня получка на руках: что успеешь, покупай; а чего покупать, когда ничего нет. Или меняй, получишь с гулькин нос».

«В понедельник прихожу к ним, так, мол, и так, что же вы мне деньги выдали перед самой реформой. Ведь знали, что будет реформа. Нет, говорят, — нагло так, прямо в глаза, — ничего мы не знали. Ну хорошо, думаю, вы от меня так просто не отделаетесь. Говорю хозяйке: у меня к вам разговор. Какой разговор? Женский, говорю».

«Вышли в другую комнату, я говорю: так и так, давно собиралась вам сказать, я в положении. Поздравляю, говорит, а кто же счастливый отец? Я, конечно, мнусь, вроде бы стесняюсь сказать. Сынок ваш, говорю. Да как это, да не может быть, да ведь он несовершеннолетний. Какой, говорю, несовершеннолетний; он мне проходу не давал, а я девушка слабая. А ты уверена? Тебе надо сходить к врачу. Была, говорю, и справка есть, десять недель. Может, аборт сделать? Мы поможем. Нет уж, говорю, аборт делать не буду. У нас, говорю, за аборт сажают. И вообще: первую беременность прерывать нельзя, ещё бесплодной останусь. Да этого не может быть, да это не он! А вы, говорю, свою сыночка ещё не знаете. Хотите, позовите его, только, говорю, он все будет отрицать. Кто же это станет признаваться. Ну, вот видишь, — она мне говорит, — нет у тебя никаких доказательств. Есть, говорю. Мне врач сказал, можно сделать анализ на отцовство. В общем, наговорила ей. Заплатили мне отступные, новыми деньгами, рады были от меня отделиться».

«Давай за именинницу. Я ведь именинница сегодня. Угадай, сколько мне лет, ни за что не угадаешь».

«А то раз чуть замуж не вышла. Это уж потом, когда сюда перебралась. Смех один, глупая была. Подкатился ко мне однажды такой из себя видный, в шляпе, сразу видно иностранец. По-русски говорит нормально. Я давно вас заметил, только не решался подойти. А чего, говорю, ко мне все подходят. И так нагло ему: хотите, дескать, получить удовольствие? Он на меня смотрит и говорит: не надо. Не надо так говорить. Я по вас вижу, вы не такая. А какая же? — спрашиваю Я, говорит, давно за вами наблюдаю. Спасибочки, говорю, вы что, из милиции? Да нет, как вы могли поду-

мать. Я вообще-то приезжий, из-за границы. А по-русски так хорошо болтаете. А у меня, говорит, бабушка была русская, она меня вырастила».

«В общем, разговорились. Он мне так понравился. Даже не потому, что он такой красивый. Уж очень со мной хорошо разговаривает, уважительно. Глупая была. В общем, такая история, хочешь, расскажу. Ну давай, Маркуша, выпьем. Вон салцом заешь».

«Он мне и говорит: хочу продолжить с вами знакомство. Только мне не хочется, чтобы вы тут ходили. Ну, думаю, ёлки-палки, послал Бог ухажёра. А я, говорю, девушка свободная, хочу, гуляю, никто мне не запретит. Но ведь запрещено, говорит. Ага, так ты всё-таки мильтон, так бы и сказал. Нагло так говорю ему. Он молчит. И голову опустил. Потом говорит: перестаньте паясничать. У вас, наверно, есть покровитель. Есть или нет, говорю, это не твоё дело. Хочешь со мной идти, так пошли. За раз, говорю, столько-то, а если подольше, то столько. А нет, так и нечего лясы точить, вали откуда пришёл».

«Прямо так ему и говорю. Он посмотрел на меня, ничего не ответил. Повернулся и пошёл. И так мне вдруг стыдно стало, он-то ведь со мной по-хорошему. Сама не знаю, что делать, догнать, что ли. Вижу, он свернул к этому, ну, который там стоит. К памятнику. Догнала; говорю ему, вы меня простите, я необразованная, жизнь, говорю, такая грубая, кругом одно хамло. Это верно, говорит, жизнь у вас нелёгкая. А вы откуда, вообще-то?»

«Ну, я ему рассказала, так, мол, и так, приехала с Урала. А как вас зовут? Клава, говорю, Клавдия; а вас? Знаете, говорит, здесь холодно, — а мы сидим на скамейке, — вы легко одеты. Может, зайдём ко мне, я тут рядом живу. Я смеюсь, ну вот, говорю, чего ж вы сразу не сказали».

«Тебе не скучно? Хочешь, потанцуем, как тогда. Ты у меня сегодня единственный гость. Я девам так и сказала: мы лучше с вами другой раз отпразднуем, а сегодня вечером я хочу быть вдвоём с Маркушей».

«Короче говоря, он меня тащит прямо в “Метрополь”. Нет, говорю, вы уж не обижайтесь, нам туда ходить не положено. Я говорю, меня туда всё равно не пустят. По мне видно, говорю, кто я такая. Нет, ты не такая. Давай, если не возражаешь, будем на ты. Вошли мы, а там внутри так шикарно. Швейцар стоит, прямо генерал. Мой Гарри — его Гарри звали, а фамилию я так и не узнала — этому швейцару что-то сказал, тот на меня глазом зырк и ни с места, стоит, весь в позолоте, в фуражке, штаны с лампасами. В общем, поехали на лифте, зеркала, сама себя не узнаю. Он, оказывается, живёт там в номере».

«Я спрашиваю, мне сразу раздеваться или как. Так нет, он на меня серьёзно так посмотрел и говорит: я хочу, чтобы ты поняла. У меня к тебе совсем другое отношение. Мы поужинаем, говорит, а потом я тебя отвезу домой, ты где живёшь? В общежитии. Ну вот, отвезу тебя в общежитие».

«Вижу, он что-то мнётся. А тут вдруг стучат в дверь. Я перепугалась. Не беспокойся, говорит, лучше вот пододвинь стол сюда к дивану. Сам подходит к двери, а там официант с подносом. Гарри ему чаевые в зубы, то есть я хочу сказать — в карман, такой кармашек на груди, специально для этого, взял у него поднос, спасибо, говорит, мы сами управимся. Мне говорит: накрывай на стол, будь хозяйкой. Да, — я что хотела сказать. Я там что-то делаю, расставляю тарелки, а он ходит взад-вперёд. А у него там вторая комната, спальня. И дверь открыта. Кровать, ну просто огромная, не то что вдвоём — впятером можно спать. Он всё ходит. Потом подошёл ко мне и говорит: нож надо положить справа, а вилку слева. И салфетку не просто так, а свернуть, и стоймя на тарелку».

«Вон там, говорит, цветы, поставь вазу на стол, посредине. Я, говорит, Клавдия, понимаю, ты сегодня осталась без заработка. Так вот я тебя прошу, не в службу, а в дружбу, возьми у меня, и суёт мне деньги. А вот — я ему говорю — заработаю, ты мне и дашь; сама смеюсь. И на кровать глазами показываю. Да, говорит, заработаю. И головой кивает. Нет уж, не будем. Не хочу, чтобы ты меня своим клиентом считала».

«Ну, в общем, что тебе сказать. Поужинали мы, пили, уж не знаю какие вина. Я даже захмелела. Он ни в одном глазу. И всё время серьёзный. А я, как дура, всю дорогу хохочу. Так мне стало с ним вдруг хорошо. Вот как с тобой. Только я так и не поняла, кем он работает. Вообще — кто он такой. Вроде бы и русский, и не русский. Может, шпион. Говорю ему: ты что, шпион? А сама думаю: да какое мне дело. Сидим мы так, время полночь, нет, думаю, нехорошо будет так просто смотреться. В общем, снимаю с себя тряпки потихонечку. И, представь, мне даже самой интересно. Уж очень он мне понравился. Совсем почти осталась без ничего. Он на меня смотрит, руки сложил. Я к нему подхожу, галстук развязала, галстук на нём шикарный, сорочку расстёгиваю, он всё сидит. Ну что, говорю, милый, так уж, говорю, положено. Целую его. Только, говорю, не думай, что это за деньги».

«Он говорит, я так не думаю. Только знаешь, Клава, лучше мы не будем. Я вижу, какая ты красивая, всё у тебя замечательно, так и сказал: замечательно. Но лучше мы сегодня не будем. Ты, говорит, не обижайся, прими душ, придёшь в себя, я тебя отвезу».

«Я ещё подумала, у него, наверно, что-нибудь не того; так ты не стесняйся, говорю, милый, я тебе помогу. Он усмехнулся и говорит: ты меня неправильно поняла. Не знаю, конечно, но женщины на меня не обижаются. Давай, Клава, — и повёл меня в ванную, — прими душ, а хочешь, лежи в воде, вот тут полотенце, простыня. Лежу я, как королева».

«Он позвонил, — там у него в номере и телефон, — вызвали такси, мы с ним сели и поехали. Он всю дорогу молчал. Я говорю: пусть остановится тут на углу, не хочу, чтобы ты видел, где я живу. В общем, стали мы встречаться. Я, конечно, с ним сошлась. Гулять перестала. Он мне подарков разных подарил. Думаю: а что же дальше? Бросит меня, наверно. И точно, однажды он мне говорит, у меня к тебе разговор».

«Я должен уехать. У меня были дела, теперь срок вышел, пора домой. А я ведь такая была дура, ничего не знала,

никогда не спрашивала. Раз он сам не рассказывает. А тут не выдержала и спрашиваю, где же ты живёшь. Как где, говорит, в советской зоне. Что это за зона такая? А это, говорит, наша социалистическая Германия, неужели не слыхала. Я говорю, откуда мне знать, я тёмная. Он смеётся. Потом говорит: у меня к тебе, Клава, есть предложение. Поедем со мной. Как это, с тобой; да кто ж меня пустит. А ты, говорит, не беспокойся. Я всё обдумал, у меня большие связи, поедешь в гости как моя родственница, в общем, наговорил мне. Я говорю: у тебя там небось семья. Семья, да, — мать, сёстры. С женой я в разводе. Поживёшь у нас, понравится, мы с тобой поженимся. А не понравится, вернёшься».

«Я цѣлую ночь не спала. Шутка сказать. Утром встала, перед зеркалом стою и думаю: куда ты такая мымра поедешь, что он в тебе нашёл? Собрала кой-что, девчонкам говорю, я, может, не вернусь. А он меня предупредил, чтобы я никому ни слова. И я им ничего не рассказывала, говорю только — мне надо отлучиться. Может, на время, может, вернусь; а может, и навсегда; будущее, мол, покажет. Приезжаю на вокзал».

«А там на эти перроны, откуда поезда за границу уходят, туда не пускают, всё загорожено. Мы так с Гарри договорились: я буду в зале, возле Сталина. Стою, жду».

«Знаешь что. Не хочу я больше рассказывать. Что я всё болтаю. Соловья баснями не кормят. Лучше с тобой потанцуем, как тогда, ты ведь научился, да? А чего там учиться-то. Я вот и патефон принесла. Сейчас поставлю».

*Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо встречать рассвет вдвоём!*

«Ну чего рассказывать. Жду; целый час прождала. Потом думаю, дай-ка я всё-таки расписание погляжу. Нашла расписание. Вижу: Берлин. Отправление девять сорок пять. А сейчас уже одиннадцать. Ну, и пошла себе назад в общежитие. Вот так, друг любезный. Пошла назад не солоно хлебавши. Иду, слёзы утираю. Эх, думаю... Да я его не виню. Сама виновата. И чего это я размечталась?»

*Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова.*

«Да что это за песня, ни фокстрот, ни танго! Пстой, я другую пластинку найду. Маркуша... Дай-ка я сама. Сама всё... Посмотрю на тебя, какой ты есть. Чего это ты стесняешься, как девочка. А ты что думал, даром я тебя, что ль, по звала... Х-ха, ха! Я выпивши, ты не обращай внимания. Я тебе сейчас всё покажу, что и как... Давай, давай. Никто не войдёт, не беспокойся, дай-ка я... У них свои дела. Ну, хочешь, мы свет потушим. Я только сейчас на минутку; ты не смотри. Ну вот, а теперь можно».

## ЗАГАДОЧНЫЙ РАЗГОВОР В НОМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «МЕТРОПОЛЬ»

Человек со светлым невыразительным лицом, в серой шляпе, в роскошном плаще из габардина, прошагал мимо кинотеатра «Востоккино», пересёк площадь перед стеной Китай-города и оказался перед другим кинотеатром и входом в отель. Дом мог напомнить ему здания эпохи грюндерства. Два фасада с затейливыми балкончиками выходят на площадь и на Охотный ряд, высоко наверху, под крышей — потемневшие плиточные панно, это уже югенд-стиль: ангелы, демоны, оливковые небеса. Человек вошёл в гостиницу.

Зеркальный лифт вознёс его на шестой этаж. Он направился было к своему номеру. Но передумал, повернул в другой коридор, там нашёл дверь и постучал костяшками пальцев. Ему открыли. Он расстегнул плащ, отшвырнул шляпу и плюхнулся на диван-канapé. *Na wie geht's*<sup>1</sup>, спросил он.

«Завтра уезжаем», — был ответ.

Он рассеянно кивнул.

«Ужасно, — сказала Сузанна Антония. — Мама его разыскала».

«Also?»

---

<sup>1</sup> Что новенького (нем.).

«Also nichts<sup>1</sup>. Это молодой парень, студент. Инвалид без ноги. Мама очень разочарована».

«Разочарована, чем?»

«Разговора не получилось».

«Этого надо было ожидать. — Он пожал плечами. — Не понимаю, зачем ей это понадобилось».

«Я тоже не понимаю».

«Надо было её отговорить».

«Это невозможно. Ты же знаешь мою маму».

«Тебе придётся написать отчёт».

«Я знаю».

«Подробный: как и что. Где встретились, и так далее».

«Можешь мне не объяснять. А ему это не повредит?»

«Это отчасти зависит от того, что ты напишешь».

«Он мне понравился», — сказала Сузанна Антония.

«So?»<sup>2</sup>

Человек сбросил плащ, подошёл сзади и обнял её; оба стояли перед зеркалом: элегантный господин в дорогом костюме, превосходно выбритый, с волнистыми русыми волосами, правильными чертами лица, ни дать ни взять — ариец, и высокая длинноногая девушка.

«О! это уже что-то новое», — глядя в зеркало, сказала она.

«Ты так думаешь?»

«Может, не надо?» — спросила она, с любопытством глядя, как пальцы мужчины в зеркале возились с пуговками, расстегнули и спустили с плеч блузку.

Дальнейшее оказалось затруднительным, и она сама быстро и ловко отколупнула пуговку бюстгальтера на спине.

Теперь юбка. Оба сидели на диване. Игра продолжалась некоторое время, он привстал и перенёс её ноги в чулках на диван. Соня полулежала. Её куда-то несло, она смотрела и не смотрела, как мужчина медленно провёл ладонями по её ногам от коленок и выше. Но тут что-то случилось.

---

<sup>1</sup> Ну и как? — Да никак (нем.).

<sup>2</sup> Вот как? (нем.)

Упало напряжение тока в сети. И, чтобы сохранить видимость того, что её всё ещё домогаются и она сама решает, быть тому или не быть, — хотя на самом деле от неё уже мало что зависело, — она сбросила ноги с дивана.

«Das reicht!»<sup>1</sup>

Он ничего не ответил; наступила пауза.

«Ты же сам не хочешь».

Прозвучало ли это примирительно или осуждающе?

Человек стоял у окна. Сузанна Антония подумала, что между ними никогда ничего не было и, очевидно, не будет. Она подумала о том, что видеть в женщине исключительно сексуальный объект — типично буржуазный взгляд. Хотя... когда тобой пренебрегают как женщиной, это тоже обидно. Это даже оскорбительно. Сузанна Антония не считала, что коммунистическое отношение к женщине как к товарищу несовместимо с постелью, но её собственный опыт в этой области был невелик и случаен. Она была слишком занята ответственной работой, чтобы уделять много внимания так называемой личной жизни. Следствием была несвойственная ей робость. Она — придётся это признать — мало занималась своей внешностью. Может быть, подумала она, всё дело в том, что она слишком высокого роста. Долговязые девушки не пользуются успехом. В моде полнотелые славянские девахи или субтильные красотки с длинными локонами и высоченным коком, как у Дины Дарбин. Она поспешно убрала с глаз подальше свой крошечный бюстгальтер, сунула в шкаф скомканную блузку — белый флаг сдачи на милость победителя, который, однако, не пожелал воспользоваться капитуляцией. Плотно запахнулась в домашний халатик и завязала пояс.

Она спросила себя, — конечно, в шутку, ибо стеснялась недостойных мыслей, — а если бы дело дошло до логического конца, если бы она побежала, как бы спасаясь, в спальню. В конце концов, мы взрослые люди — какую позу предпочёл бы этот Гарри в постели? Между ними никогда ничего не было. А могло бы быть.

---

<sup>1</sup> Всё, хватит! (нем.)

Человек по имени Гарри, — хотя, возможно, его звали иначе, — не уходил, габардиновый плащ, одежда дипломатов и ответственных работников, свесился со стула на пол.

«Я тоже отправляюсь, — сказал он. — На той неделе».

«Дела?» Он вздохнул, провёл рукой по волосам. Кивнул, но не ей в ответ, а своим мыслям.

«Они там намерены провозгласить своё государство. Все три зоны вместе».

«Когда?»

«Месяца через три. Теперь наш ход».

«Ты думаешь, восточная зона тоже будет...?»

«Это дело, собственно, давно решённое».

«А ты?»

«Что — я?»

«Я хочу сказать, твоё положение как-нибудь изменится?»

«Не слишком. Буду заниматься тем же самым».

«Оперативной работой», — заметила она полувопросительно, взглянув на него мельком, и почувствовала, что вялый разговор упёрся во что-то другое.

## ГОСТИНИЦА, ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Должен тебе сказать, — проговорил он, глядя в окно, — у меня совсем не этим голова занята».

Вот как; а чем же, спросила она, несколько сбитая с толку. Он снова сел на диван, поднял с пола шляпу и стал рассеянно чистить её рукавом.

«Не хочется уезжать?»

«Если начистоту, — человек усмехнулся, — нет, не хочется».

«Ну, это понятно, — возразила она. — Я и сама...»

«Да, конечно... Но, видишь ли, дело в том, что у меня...»

Прежде чем он договорил, инстинкт мгновенно подсказал Соне Вицорек его ответ. «Это, конечно, сугубо между

нами. У меня тут появилось одно знакомство». Так и есть: женщина, как же иначе. Сузанна Антония испытала смесь стыда, лёгкого презрения и обиды. Ach was<sup>1</sup>, равнодушно возразила она, чтобы что-нибудь сказать.

«...довольно странное».

«Деловое?»

«О, нет. — Снова летучая усмешка. — Совсем даже не деловое».

«Eine russische Liebschaft?»

«В этом роде. Ein Flittchen»<sup>2</sup>.

«Вот как!» — подняв брови, сказала Соня Вицорек.

«Боюсь, буду по ней скучать».

«И давно?»

«Давно ли я с ней знаком? Да уже месяца два».

«Если не секрет, — спросила Соня, — где ты её подцепил?»

«Да нигде. Здесь, недалеко от отеля».

«Кто она такая?»

Он пожал плечами. «Я тебе уже сказал. Живёт в рабочем общежитии. Что-то есть в ней такое. Жалкое, что ли».

«Это тебя и привлекло?»

«Может быть. — Подумал и сказал: — Не только. Пожалуй, ещё что-то. Я увидел её как-то раз. Потом снова увидел. Ты будешь смеяться, но мне показалось, что это та самая женщина...»

«Frau meiner Träume»<sup>3</sup>.

«Meinetwegen»<sup>4</sup>.

«Которой тебе не хватает?»

«Можно сказать и так».

«Это всегда так кажется, — сказала Сузанна Антония. — Сколько же ей лет?»

---

<sup>1</sup> Да неужто. (нем.)

<sup>2</sup> Интрижка с русской? — С уличной девочкой. (нем.)

<sup>3</sup> Девушка моей мечты (фильм с Марикой Рёкк).

<sup>4</sup> Если угодно, да. (нем.)

«Не знаю. Лет двадцать — может, чуть больше. Может быть, двадцать пять».

«Наверное, все тридцать».

«О, нет».

«Красивая?»

Он поджал губы, покачал головой.

«Ты, конечно, не сказал ей, что уезжаешь?» — заметила она, уже не испытывая ничего, кроме досады. Своего будущего мужа она представляла себе товарищем по общему делу, по партии, преданным, чуждым всякой сентиментальности, высоким — примерно такого роста, как Гарри. Но не исключено, что её избранник будет русским. Конечно, он будет русским. Это совсем другой народ, не то что немцы. Будут ли они жить в Москве? Или в демократическом Берлине?

«Ты ей сказал?»

«Ещё нет», — сказал человек у окна.

«И не надо говорить».

«Это будет unfair»<sup>1</sup>.

«С твоей работой... Не хватает только, чтобы её ты потащил с собой».

«Да. Не хватает».

«Это всё равно невозможно».

«Doch<sup>2</sup>, — сказал он, — всё возможно».

«Что ты там с ней будешь делать? Извини меня, — пробормотала Соня, — раз уж ты сам рассказал. Я хочу тебя спросить...»

То, что произошло здесь в номере между ними полчаса тому назад, — вернее, то, что *не* произошло, — даёт ей право задать вопрос. Она испытывала жгучее любопытство. «Извини, — сказала она снова. — Вы, конечно, уже?..»

Человек слегка развёл руками.

«Ну и как она... на твой взгляд?»

Он возразил:

«Я понимаю, это может тебя задеть».

---

<sup>1</sup> Некрасиво (нем.).

<sup>2</sup> Отчего же (нем.).

«Меня? Нисколько!»

«Ты спрашиваешь, какова она... im Einsatz sozusagen<sup>1</sup>. — Он светло взглянул на Соню. — Großartig. Besser kann's nicht sein»<sup>2</sup>.

«Понятно», — закусив губу, промолвила Соня Вицорек. Человек закрыл глаза.

«Видишь ли... — проговорил он, глядя в окно, и можно было подумать, что если бы она сейчас вышла из комнаты, он продолжал бы говорить, он бы не заметил. — Я человек, не склонный к мистике... В ней что-то есть. Я понимаю, что каждый в таких случаях говорит о женщине: в ней что-то есть... Если бы дело происходило лет триста или четыреста тому назад, я бы сказал, что это ведьма!»

Он рассмеялся, бросил взгляд на Соню, но смотрел сквозь неё.

«Очаровательная ведьма. Нет, конечно. Она очень простая, добрая и искренняя девочка».

Соне хотелось задавать всё новые вопросы, только о чём?

«Она хорошенькая?»

«Ты уже спрашивала, — он смеялся, он, по-видимому, был счастлив. — Нет, хорошенькой её не назовёшь. В том-то и дело. Я ещё не встречал женщину, которая обладала бы такой магией. Что ты на это скажешь?»

«Скажу, что рехнулся».

«Я думаю, — проговорил он, — я на ней женюсь».

«Ого».

«Вот тебе и ого. — Он добавил: — Отчёт напишешь сразу по приезде».

## ВРАГИ

Юрий Иванов, в трусах и майке, расставив ногу и протез, обеими руками сжимая рукоятку меча, стоял посреди комнаты с окном, выходящим во двор, в высоком старом

---

<sup>1</sup> Так сказать, в деле (нем.).

<sup>2</sup> Изумительно. Лучше не бывает (нем.).

доме на улице Веснина возле Смоленской площади, куда ещё до войны они переехали из другого дома. Тот, прежний дом был больше, монументальней, вообще был особенный дом, хоть и не такой знаменитый, как дом на набережной за Большим Каменным мостом, но тоже населённый простыми жильцами: со своим детским садом, прачечными, распределителем дефицитных продуктов, с комендатурой и вооружёнными вахтёрами; само собой, и жили там не в коммуналках, а в отдельных многокомнатных квартирах. К числу новинок и достопримечательностей принадлежал грузовой лифт для спуска мусора. Лифт открывался прямо на кухню. Это было чрезвычайно удобно. Семеро в форме, в ремнях, в сопровождении коменданта, стараясь не скрипеть сапогами, не вызывая обычного пассажирского лифта, дабы не тревожить соседей, — многие, впрочем, и так не спали, это была эпоха бессонниц, — выскочили из грузового лифта, выставив перед собой пистолеты и карманные фонари. Отец Юры вышел навстречу, заслонясь рукой от слепящего света, он тоже не спал. Они торопились, обыск был произведён кое-как. Дом с вахтёрами в скором времени пришлось покинуть, и этим, как ни странно, всё ограничилось. Об отце — он получил десять лет без права переписки — было известно, что он работает на секретной стройке оборонного значения, в Сибири или на Дальнем Востоке, и так продолжалось всю войну. До окончания срока оставалось два года, после чего полагалась ссылка, но ещё раньше ходили слухи о том, что после войны будут выпускать, и мать Юры Иванова очень надеялась, кто-то «там» ей будто бы даже пообещал. Пока некая более высокая инстанция не сообщила, устно и сугубо конфиденциально, — разговор происходил в кабинете, но о главном было сказано в коридоре. Отец не работал на Дальнем Востоке, он вообще нигде не работал и не уезжал. Он был расстрелян на другой день после приговора, через шесть недель после ареста. А как же все извещения, справки, которые она получала? Высокая инстанция пожалала плечами. Юра демобилизовался, как уже говорилось, весной 1945 года. К этому времени они давно уже проживали на улице Веснина.

Осталась мать (втайне гордая своим дворянским происхождением), осталась библиотека, никому не нужные книжки в выцветших картонных обложках. Удивительным образом не был изъят и этот грозный сувенир, меч умершего воителя, привезённый отцом из Синцзяна. И это при том, что первый вопрос, заданный отцу, когда они выскочили из лифта, был: есть ли в квартире оружие? Сдать! Он вынул из письменного стола свой браунинг. Меч украшал настенный ковёр в кабинете. Может быть, оттого, что меч висел на виду, он не привлек внимания. Отец махал мечом по утрам. Меч был тяжёлый, слегка изогнутый, с длинной костяной ручкой, и хранился в кожаных ножнах. Юрий Иванов поднял меч над головой, слегка потряс им, проверяя устойчивость позы, и сделал несколько резких движений по определённой системе, вправо, влево, вперёд и вверх. Крутя меч над головой, повернулся, что было труднее всего; размахнулся, примерился, издал, как делал отец, пронзительный гортанный звук, и р-раз, ударил, разрубив врага от плеча до паха; после чего, хромая, подошёл к письменному столу и положил меч на стол. Там лежали ножны и оставленное матерью письмо.

Он взглянул на конверт, письмо было без обратного адреса, обыкновенная марка. Он вышел в коридор и оттуда на кухню. В квартире проживало четыре семьи, после смерти бабушки у него и у матери было по комнате в разных концах коридора. Мать была на работе. Иванов вернулся в комнату, где, кроме обыкновенных вещей, кушетки, стола, этажерки, помещался стеллаж с литературой о революционном движении в Китае. Иванов расчистил место на столе для чайника. Он уселся и надорвал конверт.

Он вертел в руках письмо, двойной листок необыкновенно белой, плотной бумаги с именем корреспондентки, короной и гербом: бык, низко склонивший вилообразные рога. Аккуратный и чёткий почерк. Восточный Берлин, такое-то число. *Sehr geehrter...* Потянувшись, снял с полки словарь, но словарь был Юре в общем-то не нужен. Да и письмо, к чему оно? Что ещё она собиралась ему объяснить?

*Sehr geehrter, lieber Herr Iwanow!*<sup>1</sup>

Довольно-таки церемонное обращение.

*Nach langem Zögern...* Я долгое время колебалась, прежде чем решилась снова напомнить Вам о себе. Разрешите мне ещё раз поблагодарить Вас за...

Опять эта дипломатия. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего она от него хочет.

Но она ничего не хотела.

*Думаю, что Вы не удивитесь, если я скажу, что наша встреча произвела на меня большое впечатление. Наш разговор не выходит у меня из головы.*

*Кажется, я рассказывала Вам о том, как мне удалось Вас разыскать, несмотря на то, что, по сведениям, которые мой бывший муж получил из архива бывшего Министерства обороны, судно, на котором Вы находились, было уничтожено. Но, вопреки этому сообщению, оказалось, что кто-то из экипажа остался жив. Не могу Вам описать, как я была рада, когда узнала об этом!*

Нашла чему радоваться.

*Все эти подробности сейчас уже не имеют значения. Скажу только одно: вся история моих поисков кажется мне чудесным, почти неправдоподобным сцеплением обстоятельств, и то, что они увенчались успехом...*

Какой успех, с растущим раздражением думал Юра Иванов, что она несёт?

*...и то, что они увенчались успехом, что мне удалось с Вами встретиться и убедиться, что Вы существуете на самом деле, то, что я Вас нашла, а Вы, если можно так выразиться, нашли меня, — представляется мне знаком судьбы. И вот теперь Вы спросите: что я ещё хочу узнать или услышать от Вас, так ли уж необходимо продолжать это знакомство, тем более, что мы живём в разных государствах и новая встреча сопряжена с известными трудностями.*

Вот именно, сказал вслух Иванов. Так ли уж необходимо. Он разговаривал сам с собой, сидя на кушетке, отстёгнул

---

<sup>1</sup> Дорогой, многоуважаемый г-н Иванов (нем.).

ремень и снял протез, чтобы дать отдохнуть культе. Запрыгал по комнате, — в углу стояли костыли, — снова с брезгливой миной взял со стола листок. Из окна был виден колодец двора, верёвки с бельём, арка подворотни. Эта женщина явилась из прошлого, и о чём ещё говорить — спаслась и пусть будет довольна.

Было и былём поросло. Так нет же, ей понадобилось напоминать, как будто он и так не помнит. Прошло уже сколько времени после этой нелепой встречи, а она всё не может уgomониться. Тягостный и никчемный разговор в ресторане, в роскошной гостинице для иностранцев, куда нашего брата на порог не пустят; вообще не надо было соглашаться. О чем она там бубнила? Ведь он же объяснил этим двум дурам: знали или не знали, что это за пароход, допустим, что знали, ну и что? Подошли ближе и увидели чёрную массу на палубах. Санитарный крест на трубе, несмотря на плохую видимость, тоже заметили. Знали, что из портов, которые немцам ещё удавалось удерживать, из Эльбинга, из Пиллау, из Розенбурга идёт эвакуация? Знали, ну и что?! А что они делали с нами. Война! Враг есть враг. И приказ есть приказ. Топить всех подряд, и никаких разговоров.

*Мне кажется, что я не сказала Вам и десятой части того, что хотела, что должна была сказать. По крайней мере, теперь это для меня стало ясно. Как ни странно, — но, может быть, это и Вам знакомо, — первые месяцы я совершенно не думала о случившемся. Я вернулась в родные места, где всё было сожжено и разрушено. Каждый день приходили новости одна другой ужасней. Рушились города. Мы узнали о гибели Дрездена. Там жили мои друзья, это был изумительной красоты город. То, что там произошло, никто и никогда не сможет описать, человеческое сознание неспособно вместить это... О том, что произошло со мной, с каждым из нас, мы уже и не вспоминали, думали только о том, как бы выжить. Не было ни будущего, ни прошлого, жили одним днём. Сузи вызвала меня к себе...*

## ВЗМАХНУТЬ, И...

В дверь постучались, мать заглянула в комнату.

«Ты?» — сказал он удивлённо.

«Я забежала на минутку. Ты завтракал?»

«Ещё нет».

«Ну, и хорошо. Я тут кое-что принесла».

«Не беспокойся», — сказал Юра. Она спросила: не опоздает ли он на лекции? Юра Иванов ответил, что времени ещё много. Мать присела на край кушетки. «Мне кажется, ты последнее время какой-то не такой».

«Обыкновенный», — сказал он.

«Что-нибудь случилось?»

Он пожал плечами.

«Что это за письмо?»

«Да так... от одной».

«От этой девушки? Ты совсем ничего не рассказываешь... Она тебе нравится? Почему ты не пригласишь её к нам?»

«Мать, — сказал Иванов. — Тебе пора на работу».

Он читал дальше.

*Мы давно уже понимали, что война проиграна, но этот изверг хотел, чтобы вся страна, все немцы погибли вместе с ним. Наконец, мы услышали по радио, что он пал в Берлине. Ходили разные слухи, говорили, что он принял яд вместе с Евой или что он бежал. Я знаю людей, которые до сих пор считают, что он скрывается в Южной Америке, меня это совершенно не интересует. Как Вы знаете, я оказалась, благодаря Сузи, в восточной зоне. Жизнь более или менее наладилась. Но я не хочу отвлекаться, хочу сказать вот что. Первое время я ни о чём не думала. Но однажды ночью проснулась, и вдруг всё снова встало перед глазами. Там были ужасные сцены. Когда мы сидели в баркасе, рядом, в темноте из воды высывались головы людей, они были ещё живы, но лодка была переполнена. Мать с ребёнком подняла над водой свою девочку, цеплялась за борт, умоляла взять ребёнка, её оттолкнули. Я всё это видела. Я знаю, Вы думаете, что я считаю Вас виновником, Вас, и Вашего командира, и*

вообще вас всех. Нет, поверьте, такой мысли у меня нет. И к тому же я знаю, как много страданий мы, немцы, причинили Вашей стране. Я только хочу сказать, что хотя такие, как я, смогли уцелеть, каким-то чудом остались в живых, мы на самом деле умерли вместе с погибшими, утонувшими, сгоревшими, с теми, у кого раздавило обломками полтуловища, у кого не осталось ни рук, ни ног, ни глаз, с убитыми на фронтах, задохнувшимися в дыму, — только сперва мы не заметили, что на самом деле умерли вместе с ними. Мы пережили войну, а когда всё кончилось, то оказалось, что мы не в состоянии жить. Поверьте мне, дорогой господин Иванов, я каждую ночь просыпаюсь, не могу понять, где я, война давно кончилась, а мне всё кажется, что я слышу свист и грохот, слышу крики людей, вой пожарных сирен или плеск воды, но я спокойна, я лежу глубоко на самом дне, и со мной уже ничего не будет, меня уже нельзя ни утопить, ни искалечить.

И вот теперь Вы. Зачем я это пишу. Мне нужно Вас видеть снова. Мне почему-то кажется — я уверена, — что Вы, кому пришлось пережить ещё больше, чем мне, Вы, сын народа, который в конце концов не сам начал войну, а на которого напали, — Вы сможете мне помочь, может быть, даже можете мне воскреснуть. Я почувствовала это сразу. Мне ничего не нужно от Вас, мы даже не будем вообще говорить о прошлом, мы просто посидим вместе, Вы расскажете мне что-нибудь о себе или о Вашей стране. Умоляю Вас, скажите, что Вы не отвергаете моей просьбы, откликнитесь...

Иванов надел ногу, нацепил на нос пенсне, попробовал пальцем лезвие китайского меча и со свирепым выражением, закусив губу и прищурившись, изо всех сил рубанул мечом воздух.

## НОЧЬ. УНИВЕРСИТЕТ

Иванов сказал, что звонит по важному делу. Он сказал: «У меня к тебе одно дело».

«Что случилось?»

«Ничего не случилось. Надо поговорить».

«А в чём дело?»

«Немедленно», — сказал он.

«В чём дело?»

«Ни в чём. Нам надо...»

Пауза.

«Когда?» — спросила Ира.

«Сейчас».

«Да, но...»

«Срочно. Одевайся и приезжай».

«Может, ты всё-таки скажешь по телефону».

«По телефону не могу».

«А ты знаешь, сколько сейчас времени?..»

Он упрямо повторил: «Мне надо. С тобой... Ясно?»

«Ясно. Спокойной ночи».

«За невыполнение приказа...»

«Слушай, я устала. Хочу спать».

«Кто это ложится спать в десять часов».

Она молчала.

«Приезжай, — сказал Иванов. — Ну... пожалуйста».

Видимо, поддал.

Полчаса спустя она вошла в вестибюль, поднялась по ступенькам под арку.

«Ты куда это?» — спросила баба сторожика.

Ира пробормотала: «Я на минутку... забыла книжку».

«Завтра приходи. Угомону на вас нет».

«Я сейчас». Она не стала подниматься по главной лестнице, выскользнув из-под арки, свернула по коридору направо и взбежала на второй этаж по двум маршам полутёмной боковой лестницы. Вышла к балясинам и гипсовым божествам. Жёлтые шары померкли, под сводами галереи пусто, полутемно. Она стоит в недоумении перед балюстрадой.

Ире двадцать два года. Она всё в том же коротком, суженном в талии, теперь уже изрядно поношенном пальто, в шапочке, перешитой из чего-то, в руках безобразная сумка-ридикюль, совершенно ненужная, просто для того, чтобы что-нибудь держать в руках, она вертит её так и сяк. Поглядывает вниз на циферблат над входной аркой и, опершись локтём на

выступ колонны, примеряется, чтобы швырнуть сумочку вниз. Ира повзрослела и давно уже не была влюблена в собственное тело. Она думала, что скоро начнёт стареть, а между тем всё ещё ничего не случилось. Когда она услышала голос в трубке, ей показалось, что она давно этого ждала.

Было ясно, что она совершила глупость, приехав. Она побрела к выходу, к короткому маршу, который спускается к площадке перед главной лестницей под статуями. Но остановилась. Стрелки на циферблате внизу застыли. Она двинулась было вниз, снова остановилась, теребя сумочку. Вернулась, медленно зашагала по коридору в другую часть здания; не доходя до исторического факультета, там его и увидела: Юра Иванов не сидел и не стоял, а как-то полулежал, опираясь о подоконник. Она приблизилась, помахивая сумочкой.

Вид был самый безобразный: Иванов разложился. Ноги вот-вот поедут по полу, палка валяется рядом. Иванов моргнул, шлёпнул губами: «Привет!»

«Привет», — возразила она.

Наступило молчание, женщина смотрела на него, как смотрят на неубранное жильё.

«Ну чего, — сказал Иванов, наконец. — Ну, пришла. Ну, и молодец. А в общем-то, — он махнул рукой, — иди спать...»

Снова молчание.

«Как же ты теперь доберёшься домой?» — спросила она.

«Доберусь. Говорю, иди спать. Тут маленьким девочкам делать нечего».

«Где это — тут?»

«Ну...» — он повёл рукой широким неопределённым жестом. Ира наклонилась и подняла палку. Иванов опёрся на палку, привстал, другой рукой держась за подоконник. На всякий случай она спросила:

«У тебя снова... с ногой?»

«С ногой? — сказал он. — С которой?..» Он покачал головой.

«Слушай, зачем ты меня позвал?»

«Кто тебя звал? Никто тебя не звал».

«Ты хотел о чём-то поговорить».

«Поговорить — о, да. Поговорить надо».

«О чём?»

«Вот именно, — сказал Иванов, подняв палец. — Надо решить: о чём?»

Добрались до балюстрады, спустились по лестнице, она держала ветерана под руку.

«Посиди тут, я сейчас».

«Куда?» — грозно спросил Иванов.

Ира — сторожихе:

«Мы сейчас уйдём».

Старухе казалось, что она сидит, в валенках и тулупе, спустив ноги с лежанки, в избе, в родной деревне. Ира побежала по коридору, в углу за поворотом на стене висел телефон-автомат.

Никогда в жизни она не пользовалась этим роскошным методом передвижения, ей понадобилось довольно много времени, она стучала кулаком по стальной коробке, перевела кучу пятнадцатикопеечных монет.

«Сейчас приедет», — сказала она, возвращаясь.

«Кто? Никуда не поеду».

Она спросила, где он живёт.

«В Москве».

«Адрес!»

Он подумал и спросил:

«А деньги у тебя есть?»

Когда подъехали к дому на улице Веснина, оказалось, что Юра не может вылезти.

«Нализался, земляк, — сказал таксист. — Где воевал?»

Ира пересчитывала бумажки.

«Да ты что. Чтоб я с солдата деньги брал! Давай, тащи его».

## ЗАГОВОР ЖЕНЩИН

Судьба выбирает особых людей. Вы замечали, что судьба всегда выбирает особых людей? Это своего рода судебные исполнители.

Они кажутся случайными, первыми попавшимися — на самом деле это отобранные люди. Девушка остановилась поправить чулок. Она не знает, что уполномочена судьбой. Прохожий... вы даже не успели разглядеть его физиономию. Продавец воздушных шаров перед обелиском революционеров, в Александровском саду. Нищий, занявший свой пост на тротуаре перед оградой Старого здания. Они тоже орудие судьбы. Следователь государственной безопасности в мундире цвета крапивы, с рыбьим лицом, с жёлтыми плавниками погон, с эмблемой на рукаве и девизом «Оставь надежду навсегда», в ночном кабинете, где, кстати, как раз в эту минуту сидит в углу наш старый знакомый, профессор Сергей Иванович Данцигер, вернее, бывший профессор, сильно потерявший в весе и без кудрей. Судьба выбирает особых людей, участников заговора, не спросив у них; они лишь исполнители некоего веления, но родилось оно, представьте себе, не где-нибудь, а в лабиринтах нашей собственной души. Потому что судьба не то чтобы решает за нас, но подталкивает нас осуществить решение, которое мы приняли, ещё не зная об этом. Ира Игумнова нашла среди беспорядочно наклепленных кнопок на дверном косяке две пуговицы с одной фамилией, нажала один раз, другой; подождав, поднесла снова палец к звонку, послышались шаги. Звякнула цепочка. Высокая белая фигура с тёмными кругами глаз воздвиглась во тьме за полуотворённой половинкой входа. Вдвоём отвели ветерана в его комнату. Помогите мне, сказала мать. Ира, стесняясь, принялась расстёгивать пуговицы, стягивать со спящего одежду, отстегнула жёлтую кожаную ногу в чёрном ботинке. Они осторожно притворили за собой дверь.

«Куда ж вы теперь. Милая. Нет, нет; оставайтесь. Я позвоню. Скажу, что вы ночуете у меня...»

Ира вошла в полутёмную комнату, зелёный матерчатый абажур над столом, шкаф с книгами, разобранная кровать. Сейчас сменю бельё, суетилась мать Юры, вот тут ночная сорочка, полотенце. А вы, спросила Ира. Я на раскладушке, в кухне, у нас соседи хорошие. Было слышно, как она крутит диск телефона в коридоре. Ира осталась одна и, вздохнув,

улеглась. Ей снилось, что она летит. Она должна была приземлиться, может быть, врезаться в землю, и открыла глаза. В длинной ночной рубашке она вышла из уборной на кухню, где не было никакой раскладушки, не было никого, пятна слепящего утреннего света лежали на полу, на плите, блестя крышки кастрюль на полках. На табуретке сидела кошка. В квартире стояла мёртвая тишина.

«Кис, кис», — прошептала Ира. Кошка уставилась на неё. Ира сделала шаг навстречу, кошка вскочила на подоконник, оглянулась, «ну, что же ты», — промолвила Ира, кошка прыгнула в открытую форточку, пристроилась на раме и оттуда снова смотрела на Иру.

Упадёшь, сказала Ира, вышла в коридор и подкралась к двери. Юра Иванов лежал на спине, подложив руки под голову. На столе у окна сверкало стальное лезвие. Что это, спросила она.

«Меч».

Ира удивилась: «Настоящий?»

Он пожал плечами, опустил руки.

«Слушай, — сказал он, — ты меня извини».

«А где твоя мама?»

«На работе».

«Ну, мне пора, — сказала Ира. — Пойду оденусь».

В эту минуту она почувствовала, что стоит нагая под рубашкой. Было холодно босым ногам. Ира сложила руки под грудью, обхватила локти ладонями.

«Мне пора», — что-то в этом роде произнесли её губы.

Иванов сказал:

«Постой. Успеешь... — мрачным голосом, как ей показалось. — Мне надо тебе кое-что объяснить».

«Опять?»

«Что — опять?»

«Ты ведь уже собирался со мной поговорить».

«А... ну да. Нет, я серьёзно».

«А вчера было несерьёзно?»

«Вчера тоже было серьёзно».

«Ты, наверное, сегодня никуда не пойдёшь. Я скажу, что ты болен. Тебе надо отлежаться. Завтра поговорим».

«Нет. Сейчас».

«Что за спешка. Ну, говори».

«Это меч, — сказал он. — Ты помнишь у Бедье? Или у кого там».

Она не поняла.

«Роман о Тристане и Изольде. Вообще всю эту историю».

«Ну и что?» — сказала она со страхом.

«Между ними лежал меч».

Оба молчали. Ира улыбнулась.

«Могли порезаться», — сказала она.

«Могли. Дай-ка мне его».

«Слушай, Иванóв...» — сказала она, называя его, неизвестно почему, по фамилии.

«Ива́нов. Дай, говорю».

«Зачем?»

Она взяла со стола меч и поднесла ему.

«Вот, — сказал Иванов. — Лезвием ко мне. Можешь не бояться. А теперь иди сюда... ложись. Ложись, говорю!» — крикнул он.

## МАРИК ПОЖАРСКИЙ ПОСТИГАЕТ ТО, ЧЕГО ОН НЕ МОГ ПОСТИЧЬ: ИСТИНУ

Кончено, *Schluß, finis*, сказал себе Марик Пожарский; оглядываясь на «прошлое», иначе говоря, на эти несколько лет, он находил его смешным, нелепым, стыдным. Марик стоял накануне важного решения. Собственно, решающий момент был уже позади. Ибо самое важное — принять решение; какое именно, вопрос второстепенный. Но, если угодно, то вот вам и ответ: Марик решил переменить свою жизнь. Ближайший смысл этого намерения был «порвать» с Ирой. Покончить раз навсегда с бесплодной, безвыходной, унижительной и смехотворной любовью, с этими ме-

таниями между надеждой (на что?) и разочарованием (в чём?), с вечным ожиданием, бесполезной мукой, внезапным счастливым замиранием сердца от какого-нибудь мнимо-многозначительного взгляда и новой неопределённостью, новым отчуждением. Спросить, наконец, напрямую: да — или нет?

Однажды, представьте себе, он проямил что-то такое. И получил обескураживающий ответ: «Был бы ты лет на пять старше...» Означало ли это, что она всё-таки находит его достойным внимания, в принципе достойным своей любви, единственное препятствие — проклятые пять лет?.. Проснувшись однажды утром, Марик испытал небывалое чувство лёгкости, пустоты — оказалось, что он освободился. Он так и сказал себе: освободился. И пусть теперь сама жалеет.

Он попытался рассмотреть её подробнее, так сказать, критическим взором. Оказалось, что у неё коротковатые ноги, тяжеловатые бёдра. Однажды, когда она встала и забыла одёрнуть юбку, образовалась складка между ягодицами — это было ужасно. Он больше не смотрел в её сторону, не пытался с ней заговорить, с удовлетворением отметил её удивлённый взгляд; и даже под вечер, по привычке слоняясь по коридорам Нового здания, — домой идти, как всегда, не хотелось, — притулившись где-нибудь на подоконнике, пытаясь читать и тут же бросая книжку, и снова расхаживая вдоль темнеющих окон, и возвращаясь на галерею, где уже теплились жёлтые шары, и бормоча стихи, — даже в это не лучшее время дня, когда некуда себя деть, некуда податься, Марик Пожарский вкушал эту опустошённость, для которой существовало другое название — независимость, ощущал себя свободным — мы чуть было не сказали: осиротевшим. Тут он увидел Иру, она поднималась по лестнице. «А, это ты», — сказала она, выходя на галерею, и остановилась.

Марик почувствовал привычное сердцебиение, но тотчас овладел собой; не выдал из себя ни слова; Ира, как всегда, шла в читалку; и вдруг она остановилась, взглянула себе под ноги, закусил губу. Марик догадался, вернее, по-

чуял инстинктом бывшего влюблённого: случилось нечто; она подняла глаза с таким видом, словно что-то обронила по дороге и спохватилась; знаешь, проговорила она неуверенно, хорошо, что я тебя встретила, я как раз хотела тебе сказать.

«Сказать?.. Что сказать?» — пролепетал Марик, мгновенно забыв о своём решении. Да, кивнула она, сказать тебе кое-что. И какой-то ветер овеял Марика. Счастливое предчувствие! Ира, вместо того, чтобы исчезнуть за дверью библиотеки (куда он, по установившемуся этикету, не посмел бы последовать за ней), медлила, рылась в портфеле.

Она подняла голову и осмотрелась. «Надо бы где-нибудь присесть. Я даже не знаю... — и было неясно, ищет ли она местечко или то, что потеряла по дороге. Подошли к скамейке перед Русским кабинетом. — Нет, — пробормотала она. — Куда-нибудь подальше».

Обошли кругом галерею и свернули в коридор. Шли мимо высоких темноватых окон, потом налево. Там (как уже говорилось) был расположен исторический факультет, знаменитый тем, что на нем училась дочь Вождя. Легенда казалась странной, естественней было предположить, что факультет сам, со всеми профессорами ездил к этой дочери в Кремль или где она обреталась. Легенда казалась тем более неправдоподобной, что никто никогда не слышал о том, что у Вождя есть собственные дети, ведь это значило бы, что у него есть — или были — женщины. Вождь, в монументальных брюках с красными лампасами, в широких, как доски, погонах генералиссимуса, с литыми усами, с мужественным, гневно-радостным взглядом, бесспорно, не был бесполом существом; Вождь был надполом существом.

Это был тот самый подоконник, где Ира нашла пьяного Иванова.

«Не знаю...» — сказала Ира. Что она имела в виду? Они вернулись в «свой» коридор и устроились на подоконнике. Её портфель был прислонён к холодной трубе отопления.

«Я думаю... — проговорила она. — Мы ведь всё-таки друзья?»

«Ну да», — сказал Марик упавшим голосом, поняв, что её мысли *совсем не о том*. «Я подумала, что должна тебе сказать... это касается нас троих».

«Троих?»

«Ну да. Мы все как закупоренные. Ничего не можем друг другу сказать. Ты мне не можешь сказать, он мне не может сказать».

Ира взглянула искоса на него, словно хотела удостовериться, стоит ли продолжать. Или как будто запомнила, что собиралась сказать. Её глаза прошлись по стенам, взгляд остановился ни на чём. Ира смотрела внутрь себя, и что же она видела? Всё то же: комнату и китайский меч рядом с лежащим на спине.

«Короче говоря, — сказала она, — у нас это было».

«У нас... у кого?»

«У меня с Юркой». Она опустила голову, тотчас подняла и остро взглянула на Марика.

На всякий случай он переспросил:

«Было?»

«Да».

Марик понял, о чём идёт речь, но продолжал спрашивать: что, что было?

«Ну что ты, маленький, что ли, — сказала она холодно. — Что бывает?»

Она прибавила:

«Он взрослый мужчина».

Видимо, это означало: в отличие от тебя. Марик сощурился, глядя в одну точку, напряжённо думал, только непонятно, о чём. Дикая мысль пришла ему в голову. «А ты? — спросил он. — У тебя уже был кто-нибудь?»

Ира покачала головой, еле заметно. Женским усталым жестом коснулась волос, сошла с подоконника, одёрнула платье, застегнула пальто.

«Ну чего ты, — сказала она. — Огорчился? — Они остановились на крыльце университета. За оградой, мимо Манежа, шурша, неслись машины, их было немного, совсем не так, как тридцать лет спустя, было темно, и малиновые, как леденцы, звёзды с невидимых башен всё ещё, как ни в чём

не бывало, вещали баснословное будущее. Они двинулись к воротам, надо было еще что-то произнести. — Ну, хочешь, прочти стихи».

«Чего? — спросил Марик, очнувшись. — Какие стихи», — с горечью сказал он.

Она возразила, пожав плечами:

«На это надо смотреть проще. Это у всех бывает. Рано или поздно... И у тебя будет. — Она улыбнулась. — Будешь потом вспоминать».

Как будто доподлинно знала, не сомневалась, что с ним это ещё не произошло. Ему захотелось сказать, огорошить её: а вот, если хочешь знать — у меня тоже была одна.

«А я и смотрю проще. Мне-то что», — буркнул он.

«Ну что ж. — Они молча стояли перед воротами. — Если ты не очень сердисься... проводи меня».

И больше, кажется, не было сказано ни слова, Ира шагала, глядя прямо перед собой, помахивая портфелем, Марик о чём-то раздумывал и в конце концов понял, что в его жизни совершился поворот. Никто не мог предполагать — и меньше всего сам Марик Пожарский, — что внешним знаком этого поворота станет его нелепый поступок, необъяснимая хулиганская выходка; он только почувствовал, что надо что-то сделать, совершить что-нибудь такое, из ряда вон. Марик возненавидел всю жизнь, испытав при этом дикую радость.

На другой день, едва только он проснулся, его осенила идея. Всё стало на свои места, и теперь он лишь с трудом сдерживал нетерпение. Утром, как всегда, была лекция для всего курса, он сидел на балконе Коммунистической аудитории, у стены в углу, Ира где-то неподалёку — и прилежно записывала; Юра Иванов не явился; Марик явно не слушал, был чем-то занят. Прозвенел звонок; когда Ира вернулась на балкон, оказалось, что Марик просидел весь перерыв на своём месте.

Всё было готово, он поглядывал на большие часы внизу. Кто-то уже бубнил, сидя на эстраде за профессорским столом, перед профессорским чаем в стакане с подстаканником, это был доцент Капустин. Прошёл, кажется, уже целый час, но стрелка за это время передвинулась всего на каких-нибудь двадцать минут. Наконец, она достигла последней четверти.

Пять минут до звонка. Марик расстегнул свой портфель. Марик никогда не ходил на занятия с портфелем. Он не имел привычки записывать лекции, у него были только тетрадки для занятий языками. Марик ничего не знал, ничему не учился, читал что хотел, а не то, что полагалось, учебники раскрывал только во время экзаменационной сессии, кое-как тащился с курса на курс, числился посредственным, но одновременно и продвинутым студентом, языки были единственное, в чём он успевал, далеко обгоняя других. Марик явился с портфелем, и внимательный взгляд Иры Игумновой отметил эту новость.

Наконец, звонок прорвался, зазвенел в барабанных перепонках, народ внизу зашевелился, захлопали крышки пюпитров, доцент Капустин собирал свои листки на столике. Марик расстегнул набитый битком портфель. Он перевернул портфель, и оттуда посыпались аккуратно нарезанные четвертушки бумаги, десятки, может быть, сотни листовок. Всё это разлетелось над амфитеатром, порхая, опускалось на скамьи, на головы, несколько бумажек упали на сцену, кто-то свистнул в два пальца, началась весёлая паника, девушки и ребята протягивали руки к белым порхающим листкам, на всех бумажках стоял один и тот же подрывной, подстрекательский лозунг, была начертана единственная фраза: «*Ну и х... с вами!*»

## ЭПИКРИЗ. СУБМАРИНА УХОДИТ В ПУЧИНУ МОРЕЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ РАССКАЗЧИКА

Per me si va nella città dolente,  
Per me si va nell'eterno dolore,  
Per me si va tra la perduta gente<sup>1</sup>.

*Inf., III, 1-3*

Некогда я бродил по улицам, где из десяти встречных девять были старше меня. Сейчас из десяти едва нашелся бы один, достигший моего возраста. Приняв предложение ли-

---

<sup>1</sup> Я увожу к отверженным селеньям, /Я увожу сквозь вековечный стон, /Я увожу к погибшим поколениям. (Данте, «Ад», III, 1-3. Перевод М.Лозинского.)

тературного журнала участвовать в конференции «Искусство в поисках новой идеологии», я уступил соблазну, которому успешно сопротивлялся добрых десять лет — с тех пор, как открылись границы. Начать с того, что меня удерживал самый обыкновенный страх. Совершенно согласен с каждым, кто назовет это суеверием. Я знал, что моё дело с грифом *Хранить вечно* ждёт своего часа в катакомбах гигантского архивохранилища, потому что дела эти не только хранятся, но и никогда не закрываются, и живо представлял себе, как где-нибудь в самом оживлённом месте, на улице Горького, которая снова стала Тверской, автомобиль с тёмными стёклами остановится у тротуара, вежливый голос окликнет меня, цепкие руки втащат в машину, и через десять минут мы окажемся там, где мне пришлось побывать когда-то. Я даже допускаю, что за истекшие двадцать лет — с тех пор, как я бежал из России, — пухлая папка стала ещё толще. Такие коллекции обладают способностью к самостоятельному росту и обогащению. И никто не знает, какими новыми инструкциями оснастилась канцелярия, пережившая всё и всех. Словом, говорил я себе, лучше туда не соваться. И всё же приехал.

Я стоял в зале с низким потолком, с диковинными рекламными на стенах, в одной из трёх или четырёх очередей, правильной будет сказать — в одной из трёх толп. Люди перебежали из одной толпы в другую, экономя время с ловкостью и чутьем завсегдатаев очередей, так что в конце концов я оказался последним. Люди переговаривались на языке, в котором мне было внятно каждое слово и где я не понимал ни слова. То было чувство нереальности, которая вот-вот должна была стать зловещей и необратимой действительностью; состояние, о котором говорит тюрингский романтик: если во сне мы видим сон, это значит, что ещё немного и мы проснёмся.

То было переживание языка — давно умолкнувшего, ставшего сакральным, подобно мёртвому языку священных книг, но который заговорил вокруг десятками уст и оказался жаргоном черни. Замечу, что таким же или почти таким,

разве только с обратным знаком, было переживание живого английского языка, много лет тому назад, когда я приземлился в Соединённых Штатах. Вот так же я понимал его, ничего не понимая. Поистине, чтобы ощутить нечто подобное, надо было прожить безвылазно жизнь в стране, похожей на дом с закрытыми ставнями, за глухим забором.

Люди о чём-то совещались, смеялись, бранились, не стесняясь соседей, мешая обыкновенные слова с грязной руганью, которая, однако, выговаривалась, как обычные слова: матерная брань, лишённая эмоций — всё равно что кофе без кофеина. Затеплились матовые кубы над кабинами паспортного контроля, толпа заколыхалась. Каждый миг в самолёте над океаном поглощал огромные расстояния; здесь уходило десять минут на то, чтобы переместить чемодан на полметра, шаг за шагом, навстречу решающему мгновению, когда женщина-офицер в форменном галстуке, за стеклом кабины, поднесет к уху телефонную трубку и, глядя в мой паспорт, вполголоса произнесёт несколько слов. Появятся двое и попросят «пройти».

Вместо этого, пристально поглядев на меня, поразмыслив, она хлопнула штемпелем; несколько времени спустя путешественник вышел в город, над которым сеялся дождь, и, усевшись в такси, назвал адрес по-русски, чего делать не следовало. Мне казалось, если я дам понять, что я здешний, меня не станут беззастенчиво обирать, как принято поступать с иностранцами; получилось хуже: меня, похоже, приняли за одного из этих нуворишей, *New Russians*<sup>1</sup>. Сомнительное сословие, вымахнувшее из-под земли, как красавцы-мухоморы после тёплого дождя. Город летел навстречу, и я все еще не мог избавиться от чувства, которое должен испытывать человек, стоящий на разводном мосту: одна нога здесь, другая там, а внизу — вода. Но хватит об этом. Я прослушал положенное число докладов на нелепую тему, конференция была для меня, как легко догадаться, не более чем предлогом. Должен, однако, добавить к сказанному

---

<sup>1</sup> Новых русских (англ.).

выше: мое намерение совершить паломничество на бывшую родину не было свободно от некоторой задней мысли. Каждый писатель ощущает себя более или менее лазутчиком. Если уж начистоту — ради этого я и отправился в путешествие. Я собирался написать роман.

Здесь, возможно, не будет лишним вкратце сказать о моих литературных амбициях. Я сознательно употребляю слово «амбиции» вместо того, чтобы говорить о достижениях. Никакими особыми достижениями мы, увы, похвастаться не можем. Два десятка повестей и рассказов из времён, которые нынешней молодёжи кажутся эпохой Среднего Царства, несколько статей, назовём их для пущей важности модным словом «эссе», — что ещё удалось опубликовать там, где, как говорили в старину, обретается «наш читатель»? В том-то и дело, что читателей раз-два и обчёлся. Можно указать причины, по которым мои творения не пользуются и, очевидно, не будут пользоваться успехом. Во-первых, они делят общую судьбу литературы. (Я имею в виду литературу, которая заслуживает этого названия). Публика, готовая тратить время и деньги на чтение серьёзных книг (а кто из нас согласится признать свои писания несерьёзными?), тает, как весенний снег. Во-вторых, — это уже мое личное дело, — я ненавижу так называемую актуальность. Оставим её газетчикам.

Сформулируем так: известность NN — лучшая, какую можно вообразить. Известность в весьма тесном кругу не щедрых на похвалы ценителей. В тот счастливый для него день, когда он покинет мир, журналисты, может быть, спохватятся, почуяв поживу. Но будет уже поздно. Невозможно будет брать у него интервью, чтобы наскоро тиснуть в воскресном приложении, невозможно будет строчить чепуху в газетах, чтобы завтра забыть его имя, теперь уже навсегда, невозможно будет перемолоть его на жерновах прессы и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро.

Итак, я воспользовался возможностью, сбжав с конференции, побродить по городу, который некогда — отчего не сказать об этом? — так любил. Который не променял бы —

так мне казалось — ни на какой другой город в мире. Не берусь судить, хороши или плохи новейшие архитектурные преобразования, скажу только, что мне жаль пустоты и простора Манежной площади, расстилавшейся перед глазами, когда, бывало, выходишь из университетских ворот. Говорю, разумеется, о старом университете в зданиях по обе стороны от бывшей — теперь уже бывшей — улицы Герцена. Циклопический дворец на Ленинских горах, воздвигнутый заключёнными, моему сердцу ничего не говорит.

Я поднялся на филологический факультет, но никакого факультета не оказалось. В коридорах, в холле, где когда-то висела — может быть, я последний, кто её помнит! — стенная газета с фотографией славного Былинкина (*и куда ты ни пойдёшь...*), расположился новый хозяин, какая-то фирма, и уже нельзя было войти просто так: на площадке перед входом стоял охранник из отряда приматов. Он спросил, кто я такой. Я не мог ничего ответить. Откуда я знаю, кто я такой?

Не было больше и трамвая, который ходил в былые времена от Никитских ворот, звенел, сыпал искрами, поворачивал направо, шёл мимо университетской ограды и Горьковской библиотеки, мимо приёмной дедушки Калинина, — спросите сейчас кого-нибудь: кто такой был этот дедушка? И дальше, мимо Библиотеки Ленина, устья улицы Фрунзе и по Большому Каменному мосту в Замоскворечье. Липы вдоль тротуара перед Новым зданием исчезли, зато разрослись деревья за оградой и скрывают нового Ломоносова. Теперь отец русской науки сидит. Прежде стоял, положив руку на глобус, другой рукой сжимая упёртую в бедро подзорную трубу, которую издали можно было принять за детородный член. Бывший студенческий клуб, с которым так много связано, более не существует, над полукруглым фронтоном сияет восьмиконечный крест, ниже надпись золотом: *Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ*. Что она означает?

Я позвонил старой даме и договорился о встрече.

Перехожу к главной теме моего рассказа. Ветхий дом на Арбате, визг и скрежет канатов, потащивших наверх шаткую кабину лифта. Увядшая женщина с крашеными волосами, в туго подпоясанном дождевике и всё ещё модных здесь сапогах с копытообразными каблуками отворила дверь гостю, чтобы тотчас попрощаться; это была дочь. Неся букет, как посол — верительные грамоты, я прошествовал по коридору коммунальной квартиры и вступил в комнату, разделённую пополам занавесом на деревянных кольцах.

Голос из-за портьера: «Одну секундочку!»

«Простите, что заставила вас ждать, — сказала хозяйка, выходя, хотя ждать пришлось недолго. — О! — воскликнула она кислым голосом, — какие чудные розы!..» Старость начинается не тогда, когда седеют волосы и опускаются углы рта, тускнеет блеск глаз и угасает вожделение; старость начинается, когда постигаешь, и не умом, а всем телом, что ты не бессмертен. Полагаю, нет необходимости описывать внешность той, что предстала передо мною в это позднее утро, в предпоследний год страшного дотлевающего столетия; да я и не сумел бы нарисовать её портрет, хоть и числюсь писателем, — разве только по свежим следам, воротившись в гостиницу; но я и этого не сделал, лишь наскоро, стараясь не упустить главное, занёс на бумагу наш разговор. Мы уселись друг против друга, и она спросила, надолго ли я приехал. Что за конференция?

Я объяснил, что обсуждается новая идеология.

«Новая?»

«Ну да. Взамен старой».

«И какая же это новая идеология?»

«Идеология разбитого корыта». Таковы были первые, совершенно ненужные реплики, которыми мы обменялись.

Я не могу её описать хотя бы потому, что и в первый, и в последующие два визита (срок моей визы истекал, я должен был торопиться), чем дальше, тем всё настойчивей, за чертами изжёванной жизнью женщины проступал образ той, прежней, которую знал я когда-то. Как если бы он возник в

темном трюмо в углу комнаты и постепенно светлел, и рос, и, наконец, выступил из рамы; как будто привидение неслышно вошло и мягко отстранило реальную Иру. Ибо память — кто это сказал? — память ревнива и не терпит соперничества. Звук голоса, тень улыбки, манера встряхивать головой, даже то, что она время от времени поглядывала в зеркало в углу, чтобы поправить воротничок или седую прядь, — во всем этом было так много тогдашнего, несомненного, что постепенно меня перестало смущать то, что ошеломило в первую минуту, и расщелина времени уже не казалась такой бездонной.

Мы и не старались в нее заглядывать. Не было никакого желания рассказывать о себе, да и она не проявляла интереса к моей жизни; мы могли говорить только о том, что было общим для нас, было нашей жизнью, остальное не существовало; но, хотя она знала о том, чем я занимаюсь, — лучше сказать, пробавляюсь, — и, может быть, даже читала кое-что, ей, по-видимому, не приходило в голову, что гость явился из небытия с небескорыстной целью, и уж тем более она не могла догадаться, что предназначена стать героиней моего будущего шедевра.

«Да... — пробормотала она, — сколько времени протекло».

«Тысяча лет, а?»

«Тысяча лет».

Мы сидели и кивали друг другу, и было выдавлено ещё две-три фразы в этом же духе, словно мы не знали, с чего начать, и тут, сам не знаю почему, я нарушил конвенцию; но разве то, о чем я заговорил, не было трещиной века, разве не было оно частью нашей жизни? Или, по крайней мере, её эпилогом. Я спросил Ирину Самсоновну: как она отнеслась к смерти Вождя?

Она пожала плечами, вопрос был в самом деле ни к селу ни к городу. Тем более неуместно было начинать с него беседу. Вопрос заставил ее задуматься. Мы сидели за чаем. Украшением стола был замечательный румяный пирог, который она испекла к моему приходу.

«Это сейчас можно смеяться, — сказала она, — а мы тогда плакали. Я в это время уже преподавала в школе, у нас был митинг... Все плакали, и девочки, и учителя. У всех было такое чувство, как будто обрушился потолок. Или как будто произошло затмение солнца»

«Затмение?»

«Да; только не на время, а навсегда. Мало того, что мы все осиротели. Я могу сказать о себе — это было не только ужасное горе, — меня охватил страх. Я ещё была совсем молодой, только успела выскочить замуж».

«Замуж... а, ну да. Конечно».

«Люди старше меня, все были в ужасе, думали, что всё повалится, генералы начнут драться между собой за власть, нападут американцы, Бог знает что. Ждали всего».

«Но ведь...» — сказал гость и осёкся. Чуть было не забыл, что мы как бы условились, что не станем говорить обо мне, вообще не будем касаться всего, что было «после». Я не мог себе представить, что все беды будут мгновенно забыты. Мне хотелось сказать о злобной радости, которая воцарилась в лагере, когда гробовой голос Левитана провещал эти слова: *потерял сознание*. И все поняли, что он вот-вот околеет. Может быть, уже успел отдать концы, раз они там решились хоть что-то сообщить. И эту радость не могла унять даже боязнь стукачей. Мне хотелось рассказать, как я не верил своим ушам, узнав (гораздо позже) о том, что всенародная скорбь не была выдумкой пропаганды, что даже сотни задавленных в толпе, которая рвалась отдать последний долг каннибалу, не помешали горевать о нём. Я взялся за уголок пирога, который распался в руке. Хозяйка серебряной лопаточкой помогла переложить пирог мне на тарелку. Я рассыпался в похвалах её искусству.

«А почему это вас так интересует?» — спросила она, и это «вас» вновь развело нас в разные стороны.

В самом деле, что за тема для разговора.

Мы заговорили о старых знакомых. А что стало с таким-то, с такой-то.

Она спохватилась:

«Господи, что же я. Вы же принесли...»

Странным образом поиски штопора внесли какую-то нервозность в нашу грустно-умиротворённую встречу.

«Слушай-ка... — пробормотал я. (Мы все-таки перешли на «ты».) — Что произошло с Пожарским?»

Она молчала. Я разлил вино по стаканам. Ира сделала глоток и поставила рюмку на стол.

«Марик исчез, — сказала она. — Я думаю, его давно уже нет в живых».

Хотя я довольно точно представлял себе его судьбу, мне хотелось узнать подробности; я приготовился слушать.

«Тогда многие исчезали, исчез Москаленко, если ты его помнишь: он читал лекции по марксизму-ленинизму. Кокиев — Древний Египет... Ну, и, конечно, Сергей Иванович, это ведь было при тебе?»

«Нет, — сказал приезжий. — После».

«Потом была ещё какая-то история на философском, целая группа студентов. Разные слухи ходили. Я уже не помню. Меня тогда всё это не очень-то интересовало, у меня были другие заботы...»

А сейчас? — хотел я ее перебить, — интересны ли ей сейчас эти воспоминания? И тотчас понял по ее взгляду, что она угадала мои мысли, и уже незачем было объяснять, что заботы или что там она имела в виду — роман с будущим мужем, что-нибудь в этом роде, — что все это было и сплыло. А университет, лестница, гипсовые великаны, балюстрада, и сидение на подоконниках в коридоре, и Александровский сад, и юность — остались, и не было ничего важнее в нашей жизни.

Странные мысли приходят в голову. Я смотрел на нее и думал: дважды вдова. Конечно, я не думал об ее муже, о котором вообще ничего не знаю.

Можно ли быть вдовой мужчин, за которыми ты не была замужем?

Она продолжала:

«Марик... как тебе сказать. Я думаю, он был предназначен для этого. Иногда просто лез на рожон... Не эта история, так другая, рано или поздно. И даже если бы ничего такого не случилось. Я думаю, у него была такая судьба. Ты веришь в судьбу? Это был последний день, когда я его видела. Накануне у нас был один разговор... В общем, я ни о чём не подозревала. Я сидела на балконе, на нашем любимом месте, он тоже сидел на балконе».

Я спросил, что там было написано.

«Какая-то чепуха, не знаю. Я только видела, как всё это разлетелось, многие задирали головы, а он стоял наверху и смотрел. Все его, конечно, видели».

«Это были стихи?»

Она помотала головой.

«И что же?»

«Ничего, на этом всё кончилось».

То есть как, спросил гость.

«А вот так: кончилось, и все. Из Комаудитории всех выгнали. И сам он — я даже не заметила, куда он делся. Просто ушёл. Всё это быстренько убрали. Перерыв, правда, немного затянулся, но потом все снова уселись, лекция продолжалась. Все делали вид, что ничего не произошло. И вообще об этой истории больше никто не упоминал ни единым словом. Все понимали, чем это пахнет... Потом уже, когда меня вызывали, я узнала, куда пропал Пожарский. А так о нём тоже никто не вспоминал, как будто его и не было».

Вызывали, зачем.

«Не только меня одну, хотя все, конечно, скрывали... Давали подписку о неразглашении. Я ужасно боялась. Спрашивали, знаю ли я такого-то, — конечно, знаю, — какие высказывания слышала от него. Даже спросили, вроде бы в шутку, не собирался ли он убить кого-нибудь из руководителей партии. Я прикинулась дуручкой».

Она посмотрела в трюмо. «А в общем... — пробормотала она. — В общем-то какое это имело значение. Кто туда попал, тот не возвращался».

Гость сказал: а стихи, куда они делись?

«Какие стихи? А, ну да. Не знаю...»

В следующий мой приход я спросил Ирину Самсоновну: зачем он это сделал? «Зачем... Я тоже задаю себе этот вопрос. Что-то кому-то хотел доказать. Мне даже казалось вначале, что я была причиной... в какой-то мере. Мне так казалось».

Я снова спросил, и она ответила:

«Это был не то чтобы юношеский роман, а что-то вроде *amitié amoureuse*<sup>1</sup>. То есть с его стороны, конечно, что-то большее, а я? Сама не пойму, как я к нему относилась. Скорее всего не принимала его всерьёз. Но с другой стороны... Мы все жили в каком-то тумане...»

Она снова отвела взгляд, но не себя, а их увидела в тёмном стекле.

«Что я могу сказать? Вечером накануне того дня, да, это было как раз накануне, я пришла заниматься в библиотеку, даже раньше обычного. Я была уверена, что встречу его... Университет был как родной дом, мы там целыми днями околачивались, хотя у меня были и другие обязанности... И вот, — она вздохнула, — когда я его увидела, я решила ему всё рассказать. Меня всегда забавляло, что они оба вечно пикировались в моём присутствии. Марик — ещё понятно, но Иванов... Вообще мы все трое были неразлучны. И я подумала, что у меня от Пожарского не должно быть тайн. Тем более такой тайны. Это было бы нечестно.

Но тут было ещё кое-что, и, конечно, так, как я всё это изобразила, мне не надо было делать. Не надо было ему так говорить. А с другой стороны, рассказать всю правду тоже было невозможно. Короче говоря, была у меня потом такая мысль: что это я виновата в его гибели. Он же всё-таки понимал, чем грозит ему эта выходка». Не обязательно, заметил гость.

«Нет, я думаю, понимал. Все мы были наивны, и он тоже, даже ещё больше, но не настолько же. По-моему, это было сделано сознательно. Дескать, раз так, то я вам всем и отомщу. Я вам всем покажу».

---

<sup>1</sup> Влюблённой дружбы (фр.).

Помолчав, она добавила:

«Я вообще не понимаю, как это он раньше не попал. Университет кишел осведомителями. Это же был комсомольский долг — докладывать; не правда ли?»

Считает ли она и сейчас себя виноватой?

Она пожалала плечами, покачала головой.

«Нет, это была последняя капля. Это как-то копилось. — Сделав короткую паузу: — Это была судьба. Ему на роду было написано плохо кончить».

«В этом государстве?»

«Не знаю. Может, и не только в этом. Ты думаешь, — спросила она, — всё дело в этом государстве?»

По крайней мере, отчасти, ответил я.

«Вот именно, что отчасти. Это был такой характер. Я думаю, — прибавила Ира, — его добило то, что я сказала ему...»

На этот раз не было пирога, лежали на тарелке какие-то печенья, дочь приходила и снова уходила, нужно было преодолеть ещё один барьер, не выпить ли нам чего-нибудь покрепче? Она поставила. Мы чокнулись. «За что?» — спросила она. Выпьем, сказал я, за... и не решился договорить; она кивнула; я спросил: знает ли она, где воевал Иванов?

«Он никогда об этом не рассказывал. Он вообще не любил говорить о войне. Как-то раз Марик заявил, — это я хорошо помню, — что мы будто бы принесли новое рабство вместо прежнего. Кто это — мы? Марик сказал: Советская Армия. Представляешь себе, это он говорит фронтовику. Кому же это мы принесли рабство? — Восточноевропейским народам. — Юра взбеленился и сказал, что он таких разговоров не потерпит. По-моему, это был единственный раз, когда зашёл разговор о войне. Но ведь все фронтовики не любят военных воспоминаний. Особенно, когда...»

«Когда что?»

«Когда ты вернулся калекой».

Я спросил Ирину Самсонову, известно ли ей, что к Иванову приезжали две немки.

«Нет... то есть да. Я их видела».

Рассказывал ли Иванов, спросил я, что-нибудь о них, об этом разговоре.

Она покачала головой.

«Эта девица хотела, чтобы Юра на ней женился. Хотела его увести».

Я удивился:

«Откуда ты это взяла?»

«Ниоткуда. Знаю».

«Он сам тебе об этом говорил?»

«Никто не говорил».

Я возразил, что мне об этом ничего не известно, но браки с иностранцами, кажется, ещё в сорок шестом году были запрещены.

«Были, ну и что. У этой бабы были связи».

«Слушай-ка, — проговорил я и налил снова. — Раз уж зашёл разговор... Я хочу тебя спросить. Ты его любила?»

«Юру?»

Я кивнул. Она ответила:

«Я его жалела».

«Почему он это сделал?»

Она опрокинула рюмку в рот. Взяла что-то с тарелки, но, не откусив, положила обратно.

«Почему», — кивнула своим мыслям.

После некоторого молчания:

«Не знаю».

Гость ждал продолжения, наконец, она сказала:

«Я и на похоронах не была. Потом как-то позвонила его матери, мы встретились. Она мне рассказывала... Когда она пришла с работы, он лежал весь в крови. Перерезал себе горло этой штукой».

«Оставил что-нибудь, какую-нибудь записку?»

«Вроде бы нет».

Давно уже стемнело, мы сидели и не обратили внимания на то, что беззвучно открылась дверь.

Я хотел сказать Ирине, что приехал «собирать материал», но теперь мне ничего не нужно, никаких романов я писать не буду. Тем не менее отворилась дверь. Мы даже не слышали, как она открылась.

В сумерках, в чёрном фраке вошёл скрипач. Он был в тёмных очках, с плоским лицом и прилизанными волосами. Музыкант поднял смычок, мы услышали шлягер сороковых годов. Вошёл двоюродный брат Марика Пожарского Владислав, с бритыми лиловыми щеками, в лазоревом пиджаке и с розой в петлице. Вошёл призрак Иванова, с палкой, в морском кителе.

Я взглянул на Иру, она пожалала плечами, как бы говоря: ну и что? Ничего.

«Извини, я хочу тебя ещё спросить, — начал я. У меня мелькнула догадка. И, кажется, она понимала это. — Ты можешь не отвечать, если тебе неприятно...»

«Спрашивай».

«Ты сказала, всю правду рассказать было невозможно... Значит, ты что-то скрыла от Пожарского? Что ты имела в виду?»

Она молчала, разглаживала рукой скатерть.

«Может, зажечь свет?» — сказала она.

Увидев на губах у меня застывший вопрос, она снова пожалала плечами, как будто хотела возразить: нет, отчего же; могу сказать.

«У малышки была высокая температура, мы повезли её в Филатовскую больницу. Там признали корь...»

«Твоя племянница?»

«Да. Только я успела вернуться, он позвонил. Спрашиваю, в чём дело. Надо поговорить. Завтра? — говорю. Нет, сейчас, немедленно. Приезжаю в университет. Так и есть: мой Юра вдребезги пьян. По телефону ещё туда-сюда, а теперь совсем лыка не вяжет. Что делать, я вызвала такси. В те времена это была для нас немыслимая роскошь, но таксист выключил счётчик, не хотел брать денег с фронтовика. Кое-как мы его втащили, он жил с матерью, в двух разных комнатах. Ты у него бывал?»

«Мы вообще не были знакомы».

«Я тоже в квартире никогда не была. Комнаты были в разных концах коридора. Его мама уговорила меня остаться ночевать в своей комнате, а сама легла на кухне. Утром я не слышала, как она ушла, просыпаюсь — никого нет».

«Он позвонил тебе вечером, хотел поговорить. О чём?»

«Не знаю. Я же говорю, он был пьян. В общем, я решила взглянуть, как он там. Соседей не слышно, то ли спят, то ли ушли все на работу. Открываю потихоньку дверь и вижу, что он не спит, лежит, заложив руки под голову, и смотрит так, как будто никогда меня не видел. А я и в самом деле. Стою в чужой рубашке, босиком, мать Юры высокая, я поменьше, рубашка чуть не пола. Словом, я увидела, что он проспался, хотела уйти. Что-то меня удержало — на одну, может быть, лишнюю минутку, и, мне кажется, он это заметил. Он спросил, читала ли я Бедье, историю Тристана и Изольды. Мне стало страшно».

«Минутку, — сказал гость, — о чём речь?»

Опять-таки можно было догадаться. *И меч лежал между ними*. Только у Бедье, сказал я, этого нет, это исландская сага.

«Ну, значит, он спутал».

«И что же?»

«Мне потом его мама рассказывала... отец привёз из Китая».

«Well, — сказал гость. — Что дальше?»

«Ничего: я подошла к столу, взяла меч двумя руками, за рукоятку и лезвие, он был довольно-таки тяжёлый. В углу у окна стоял протез. Я положила меч на постель, Юра подвинулся. Ложись, сказал он. Ложись рядом, ничего не будет. Там говорится ещё о любовном напитке. Любовный или не любовный, но я тоже была как будто опоена. Ничего не соображала. Я только знала, что если я уйду, это будет для него таким ударом, что...»

«А ты сама — хотела?»

«Да. Я этого хотела. Я, может быть, даже знала, что это произойдёт. Ещё когда шла по коридору. Нет, ещё до этого. Мы в то время... ну, что говорить. Ты меня спрашивал, были у меня кто-нибудь до этого».

Я изобразил удивлённую мину.

«Ну, хотел спросить. Никого, конечно, не было. Но теперь я знала, что это произойдет. Я поняла, что это сама судьба так устроила, чтобы мы остались вдвоём. Что мать Юры нарочно оставила меня ночевать и ушла пораньше. И я почувствовала, как бы это объяснить... почувствовала, что должна сбросить с себя это бремя девичества, вот и всё. Всё моё тело взбунтовалось, я хотела стать женщиной. И ещё... — Она опустила глаза, её ладони разглаживали скатерть. — Мне было так жаль его. Эта бабья жалость... сама по себе была уже чувством женщины, а не девчонки, когда просыпается жалость, это значит, что ты становишься женщиной... Даже не жалость, а сострадание. Оно было для меня оправданием, что ли, перед самой собой. Но мне и не надо было оправдываться. Я просто взяла и сбросила эту штуку на пол, этот дурацкий меч, легла и почувствовала его руку на себе. Холодную, как лёд. И весь он был холодный. Мы оба замёрзли. Я повернулась к нему, стала его целовать. Но он почему-то медлил. И я шепнула ему...»

Приезжий хотел спросить: что шепнула?

«Не знаю. Что-то такое я ему сказала на ухо. Дескать, всё будет хорошо, давай... И он как будто очнулся, повернулся ко мне и положил свою кулю мне на бедро. Я ужасно обрадовалась. Меня охватило нетерпение... Я, конечно, была совершенно неопытна, а он взрослый мужчина, хоть и старше всего на несколько лет; я думала, он возьмёт на себя инициативу. Даже крикнула на него. Ну и, в общем... что говорить».

«Ничего не получилось?»

Она покачала головой. На другой день рано утром я улетел в Соединённые Штаты.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Если правда, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное о нём — на восковых

табличках, на папирусе, на бумаге, — то история человеческой жизни начинается после того, как некто вознамерился о ней рассказать. Кладбища — это библиотеки ненаписанных романов.

Среди многочисленных функций романа мы должны выделить одну, может быть, главную: роман реабилитирует человека. Роман убеждает — в век неслыханного умаления человека, — что нет ничего более ценного, чем личность, и ничего более интересного. То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности.

Сочинитель сидит в номере гостиницы перед молочно-светящимся экраном, отводит взгляд — за окном узкий, глубокий колодец двора. В коридоре тишина. Кажется, ты один на всём этаже, во всём доме. Два чувства: первое — обыкновенное, привычное ощущение тупика; как будто готовишься, поплевав на ладони, долбить ломом каменную стену. Второе... о нём говорить труднее. Россия, которая настигает везде, как наваждение. Итак, о чём, собственно, мы собирались поведать? Иногда кажется бесполезной попытка восстановить историю книги. (Такие вещи уже делались). Два обстоятельства, или два образа, послужили первым толчком. Во-первых, это был парень, бывший фронтовик, которого я увидел на первом курсе, через несколько дней после начала занятий, в первую послевоенную осень, в прекрасном сентябре. Он был рыжеволос, строен, тщательно, даже шикарно для того времени одет в новый, тёмный в полоску костюм. Он был в галстук и в пенсне, — кто тогда носил пенсне? Трость с набалдашником в правой руке. Ходил прихрамывая, по-видимому, на протезе.

Вероятно, он был не намного старше меня — мне исполнилось семнадцать, ему могло быть 22, от силы 24 года, но между нами было огромное расстояние, была война, мы принадлежали к разным поколениям. Только теперь, когда будущее, манившее нас, давно стало прошедшим, я могу понять, какого душевного мужества, какой выдержки стоила ему поза

денди, цедившего слова, менторски-снисходительный тон и эти стёклышки, сквозь которые он взирал на нас, юнцов, — меня и моего товарища. Почему-то он достаивал нас вниманием, издалека спешил навстречу, припадая на ногу; мы тяготились его дружбой.

Этого человека (надеюсь, он ещё жив) я позднее уже никогда не видел, летучее знакомство растворилось в обилии новых впечатлений и дружб, вдобавок мы учились на разных отделениях. Я придумал ему военно-морское прошлое — и это была история, которая стала вторым отправным пунктом.

Автор узнал о ней из случайно увиденного немецкого документального фильма, в котором участвовали бывшие моряки, члены экипажа советской подводной лодки «С-13». Командир лодки, тридцатидвухлетний капитан 3 ранга Александр Иванович Маринеско, отец которого был румыном, после окончания Одесского высшего мореходного училища стал штурманом и капитаном торгового флота, а затем военным моряком-подводником. Он был хорошо известен на флоте, прославился как герой, был любимцем женщин, много пил, дебоширил, не ладил с начальством. После войны окончательно впал в немилость и умер в нищете и безвестности. История, о которой идёт речь, произошла вблизи Данцигской бухты, в ста километрах от побережья Померании: лодка «С-13», получившая приказ занять боевую позицию в южной части Балтийского моря, где ожидалось появление немецких транспортов, выследила и потопила большой шестипалубный пассажирский корабль «Вильгельм Густлофф» с беженцами из отрезанной Восточной Пруссии.

Описывать войну, никогда не быв на войне (автора должны были призвать осенью 45-го, если бы война продолжалась), — дело по меньшей мере рискованное. В своё оправдание могу сказать, что я ограничился поначалу одним абзацем. Юрий перекочевал в роман, сохранив своё имя и внешность. Он стал у меня моряком подлодки «С-13», вахтенным офицером, который первым увидел огни

вражеского корабля и был выловлен из ледяной воды после того, как лодку настигли глубинные бомбы немецкого эскадренного миноносца «Лев».

Ради этого пролога — и воспоминаний, которые преследуют Иванова, — мне пришлось проштудировать довольно обширную литературу. Я снабдился справочниками и атласами военно-морского флота разных стран в годы Второй мировой войны, собрал сведения о моторном лайнере «Густлофф», прочёл воспоминания рулевого-сигнальщика Г. Зеленцова, участника подводной атаки (умершего через полвека, в 1998 г.), разглядывал карты и фотографии. Мне помог также документальный роман Л.-Г. Бухгейма «Das Boot» («Лодка»), по которому сделан известный фильм. Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как моё сочинение было готово, — «Im Krebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф» от схождения с гамбургских стапелей в 1936 г. до гибели в Балтийском море. (Русский перевод, под искажающим смысл оригинала названием «Траектория краба», появился в журнале «Иностранная литература».)

Мне нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную январскую ночь 1945 года.

Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где теснились полузамёрзшие пассажиры (в день катастрофы температура воздуха была минус 18 градусов, ветер до семи баллов), радио транслировало речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу германского народа».

Посадка происходила накануне, толпы беженцев загроутили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из порта. С маршрутом не все ясно, по одним сведениям, «Густлофф» направлялся в Сви-

немюнде, по другим — пунктами назначения были Киль или Фленсбург. В открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан корабля Петерсен (он был спасён) распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. С этой стороны «Густлофф» и был замечен. По некоторым сообщениям, капитан Маринеско, прежде чем атаковать, совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны; в воспоминаниях Зеленцова (и в моём романе) об этом не говорится. Последний из трёх выпущенных снарядов разрушил машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.

Я почувствовал, что война с Германией вновь преследует меня, хотя кажется — что мне в этом прошлом, которое пронеслось стороной, совпало со временем отрочества, погружённого в собственный сон? Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в той самой стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинулась всей громадой трёхмиллионного войска на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, видеть войну не совсем так, как её видят в России. Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который вступает на пепелище, успевшее зарости травой. Я всегда думал, что никто так плохо не разбирается в эпохе, как тот, кто в ней живёт; мы, конечно, не умней и не проникательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. Как бы то ни было, оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к сочинению своего романа, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан; стереотип этот, по видимому, незыблем по сей день.

Нелишне вспомнить о том, что, не будь нашествие остановлено, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось победить, — а ведь дважды, в ноябре сорок первого и в августе сорок второго, всё висело на волоске. Тот, кто пе-

режил 9 мая 1945 года в Москве, кто помнит эти счастливые толпы, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, — будет, наверное, возмущён или по меньшей мере удивлён, если я осмелюсь заявить, что победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения, самого страшного, может быть, за всю одиннадцативековую историю нашей страны. Разгромлены оба противника; проиграли оба. Таков был слабо звучащий лейтмотив романа или, лучше сказать, его подспудная тема.

Я понял, что мой герой, мальчик-офицер, вернувшийся инвалидом, преследуемый, как кошмаром, воспоминанием о гибели женщин, детей, стариков и калек в бушующем снежном море, гибели, к которой он как-никак приложил руку, хотя никто не посмел бы его упрекнуть, — в конце концов он и сам едва не погиб, — что этот изобретённый моей фантазией Юра Ив́анов, так и не сумевший справиться с новой, мирной жизнью, есть в некотором смысле персонаж исторический. Мне стало ясно, что человек, которого война преследует не только буквально (сны, кошмары, напоминания, остеомиелит культы, наконец, визит спасшейся немки; сюда же — возможно — импотенция), но и в каком-то более общем смысле — война как отсроченная смерть, от которой он случайно ускользнул и которая в конце концов его настигает, — что человек этот олицетворяет катастрофу, которую называли победой.

С этого момента стало понятно, о чём мне нужно писать: о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего.

Обозначилась и точка зрения повествовательной прозы, в данном случае — точка зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его

наблюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Я использовал для названия моего романа строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, постигнутость прошлым перекликались с сюжетом, который мало-помалу стал проясняться) и у него же заимствовал эпиграф — короткое стихотворение из сборника «Atemwende» («Перемена дыхания»).

Прозаический перевод, сделанный мною, конечно, не мог передать всю многозначность и прелесть маленького шедевра.

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.

И всё же война в этом сочинении есть лишь некое quo ante. Осенью Юрий Иванов собирается поступить в университет. Выяснилось, что он всё же не главный герой предстоящего повествования, вернее, не единственный. Есть ли там вообще «главный герой»? Придётся повторить фразу, ставшую банальной: главный герой — время. Но с тем же правом можно сказать: любовь — вот истинный герой рассказа.

Рассказ... я произношу это полузапрещённое слово. Сколько раз нам твердили, и твердили мы сами, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция реальности. Мы живём в послероманную эпоху. И, однако, я возвращаюсь к рассказыванию историй; у меня было чувство, что иначе мне не справиться с задачей.

Рассказ движется сюжетностью (или порождён ею), а сюжет, по Лотману, есть «революционный элемент» по отношению к картине мира. Рассказ в моём понимании подразумевает бедность фабулы, возмещённую богатством сюжета, переплетением мотивов, этих несущих конструкций повествования.

Другое дело — отказ от той непосредственности, которую Эрих Ауэрбах («Мимесис») считал отличительной чертой русской литературы, — непосредственности, порождающей особую запретительную поэтику: никаких комментариев «от автора», покажите нам людей и обстоятельства, а не рассуждайте о них; философствовать — не дело художника.

Я понимаю, что рефлексия повествователя, замечания о войне, о времени, о неумении молодых людей найти себя и проч., как и сугубо литературный, старомодно-иронический стиль этих размышлений, — всё это подвергает испытанию терпение читателя. И всё же мне кажется, что метаповествование как *pendant* к рассказу в собственном смысле, введение дополнительных точек зрения, присутствие рефлектирующей инстанции внутри самого рассказа в наше время так же естественны, как описания природы в романах XIX века. Фразу Камю «Хочешь быть философом, пиши романы» нужно перевернуть: «Хочешь писать роман — будь философом». Мне хотелось подвести некоторый итог; всякий роман есть итог; я вернулся к юности, самому важному (после детства) времени жизни, с тем чтобы в эпилоге приземлиться вместе с рассказчиком в машине времени на Шереметьевском аэродроме — в сегодняшней Москве. Подвести итог, что это значит? В XIX веке говорили об отчуждении человека-производителя от производства. Болезнью только что минувшего века я назвал бы отчуждение человека от Истории. Историческое сознание изнашивается. Оно перестало быть путеводной звездой. Идея великой цели скомпрометировала себя, надломилась иудейская стрела, указующая вперёд, к Царству Божию на земле. Стала очевидной абсолютная несовместимость Истории, Политики, Нации, государственных приоритетов, национальных амбиций, всех этих зловещих фантомов, обесценивших личность, обес-

смысливших культуру и мораль, — с заботами и надеждами человека, с реальной жизнью людей, над которой демоны обрели неограниченную власть.

С исторической точки зрения жизнь людей стала чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и является подлинной жизнью. Жить в Истории невыносимо, вне Истории — невозможно.

Но в романе констатация несовместимости двух времён, человеческого и надчеловеческого, меня больше не удовлетворяла. Я по-прежнему представлял себе Историю как нечто бесчеловечное, абсолютно лишённое того, что некогда называли историческим разумом. Требовалось, однако, соединить несоединимое — увидеть, проследить, каким образом человек реагирует на всеобъемлющее насилие. Материалом для этого представлялось мне время юности.

В те времена у нас устраивались балы. (О них бегло говорится во второй главе.) Внизу и на втором этаже, куда вела парадная лестница, вдоль колонн и балясин знаменитой балюстрады аудиторного корпуса на Моховой, под гром духовых оркестров, топтались, качались, крутились пары, и автор был усердным посетителем этих празднеств. Если в качестве исходного образца для Юры Иванова, — правда, только исходного, — передо мной сквозь дымку воспоминаний маячил настоящий Ю.И. (никогда на эти балы не ходивший), то второй персонаж, Марик Пожарский, восходит к нескольким прототипам; один из них — мой закадычный друг студенческих лет, арестованный, как и я, на последнем курсе, но получивший срок поменьше, а впоследствии ставший известным поэтом-переводчиком. Его оригинальные стихи приписаны Марику Пожарскому. И, наконец, третье лицо треугольника: девушка 18 лет, чем-то напоминающая одну реально существовавшую студентку. В главе «Танец» она учит инвалида фигурам танго.

И раз уж зашла речь о прототипах, можно добавить, что профессор Данцигер имеет некоторые черты сходства с покойным Сергеем Ивановичем Радцигом, заведующим кафедрой классической филологии. Я сделал Данцигера гер-

манистом, молодых людей — студентами западного, или романо-германского, отделения. Биография и отчасти внешность его брата могут напомнить о Фёдоре Августовиче Степуне, русском философе, предки которого были выходцами из Восточной Пруссии. Правда, Степун, изгнанный из Советской России в 1922 г., никогда не возвращался.

История, похожая на разоблачение Игоря Былинкина, произошла с известным всему курсу активистом-общественником Б.: он тоже считался бывшим партизаном. Кажется, ему разрешили после крушения заочно окончить университет, он стал доктором наук; его уже нет в живых. Но любовная история в эвакуации, прибытие в университет родственников соблазнённой девицы и т.д., а также возвращение Былинкина в Агрыз придуманы.

Дела давно минувших дней, прошлогодний снег... Воспоминания — сырьё, которое должно быть переработано. Отсюда следует, что если автор обращается к тому, что «было», получается не совсем то, что было. Живое, интимное чувство ушедшей жизни, то, что всегда и везде питало литературу, может ли оно быть всеобщим достоянием? Химический процесс, торжественно именуемый творчеством, денатурирует действительность; самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Реальными, однако, остались «декорации». Два старых здания, разделённых бывшей улицей Герцена, они и для меня когда-то были родным домом.

Гораздо больше, чем «нормальные» члены общества, романиста занимают маргиналы, те, кого не расплющил штамповочный пресс. Существенно важный мотив романа связан всё с тем же насилием Истории, точнее, с репрессивным обществом, куда вступили эти юнцы. То, что составляет реальное содержание их жизни, любовь, этот островок индивидуальной свободы, на котором юноша и девушка всецело располагают собой, чувствуют себя самими собой, — внутреннее изгнание, куда, сами того не сознавая, они уходят, чтобы отстоять себя, — оказывается западнёй, которую готовит им общество, изначально враждебное и карающее всякую независимость.

Каждый из них заново и на свой лад постигает роковую для подростка, переступающего порог юности, истину связи любви с сексом.

Между тем есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе: секс есть вторая крамола. В этом обществе нравственность носит полицейские черты. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым дышат, входит в плоть и кровь, — так воспитываются стыд и скованность, становятся нормой поведения трусость и ханжество, какого не знало буржуазное общество. Идиотический этикет, казалось бы, дикий и невозможный на фоне бедности и плебейства. Пуританские нравы, обратная сторона подпольного разврата. Какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, называемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода. Носителями этой свободы-несвободы становятся персонажи: это роман о невозможности любви.

Я пытался передать то особое чувство, знакомое каждому молодому человеку, каждой девушке: почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное, нечто постыдное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует — совершенно так же, как не существует тайной полиции, доносительства, всеобщего страха и всенародной нищеты. В этой ситуации находится Марик Пожарский, робкий бунтарь. Скованный и немой, что он придумывает? То, что придумывали влюблённые всех веков: объясниться заочно — написать письмо. Бумаге можно доверить то, что не может быть сказано вслух. В письме можно стать отважным, дерзким, письмо освобождает из плена трусости, неуверенности, стыда, другими словами, отчуждает пишущего от его собственной природы. И в то же время артикулирует его подлинные, его тайные надежды, мысли и чувства.

Но так как письмо есть не что иное как высказанное *вожделение*, оно (как говорит Ролан Барт) имплицитно обязывает к ответу. К какому ответу? Не к письменному, разумеется. Она должна будет дать понять, что письмо получено, сигнал принят. Как она это сделает? Прямо (наверяд ли) или намёком? Проявит ли благосклонность? Может быть, посмеётся. Как бы то ни было, любовное письмо — это целое приключение. Увы, Марик не решается и на этот шаг. Вместе с тем он совершает важное открытие. Это открытие нового измерения мира — эротизма. Первичная физиологическая сексуальность преобразуется в безбрежную эротику. Мир оказывается для Марика, начинающего поэта, несравненно богаче, нежели для какого-нибудь Владислава, который (по-видимому) уже усвоил навыки секса, технику обладания женщиной как сексуальной партнёршей. Марик погружён в неутолённое желание — это ситуация художника. Его «объект» всегда прикрыт, прикровенен (он не может представить себе Иру раздетой), это «неразгаданная тайна» Тютчева. Но Марик сам, не сознавая этого, противится разгадке: она уничтожила бы любовь, низвела бы её на уровень секса. Безвыходность усугубляется ложным сообщением о том, что Ира принадлежала другому, — разочарование, сопоставимое с разочарованием в коммунизме и, далее, с метафизическим разочарованием, «болезнью расколотого зеркала», — и заканчивается бунтом, поступком, который Ира (и, очевидно, все окружающие) воспринимают как бессмысленный. На самом деле это не что иное, как мальчишеский вызов абсурдному миру.

Юношеская любовь не просто безвыходна; она движется к катастрофе. Рано или поздно эротическое поле должно было вступить в противоречие с другим электромагнитным полем — мистическим вездесущим присутствием Вождя. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической, поисками которой занимался Эйнштейн), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единого поля не было. Психологическое «поле» Вождя исключало присутствие каких-либо конкурирующих воз-

действий. Поле, которое вот-вот прорвётся искровым разрядом в душном зале кинотеатра на Арбатской площади, где идёт демонстрация эпохального фильма «Клятва», истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, — этот психологический климат, это поле не было метафорой, заимствованной из области, о которой автор в общем-то имеет смутное представление. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать его реальность. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами. Вот отчего и эта тема вплелась в роман.

И вот теперь, когда я сидел в комнате на четвёртом этаже маленькой гостиницы на Монмартре и вперялся в молочный экран, всё как-то схватилось — так схватывается майонез после долгого перемешиванья, и составные части больше не расслаиваются. Образы и музыкальные мотивы сцепились в некое целое — девушка и два парня, томление и неразрешимость, незваная гостя из-за рубежа, выжившая назло всему, и оставшийся в живых юноша-инвалид, один из тех, кто пустил ко дну корабль с беженцами, профессор-конформист и его брат — мистический патриот, которого в конце концов пожрало любезное отечество, и разодетый в пух и прах, фат и трус Владислав, и Вождь за зубцами Кремля, и разрушенный жизнью, всё ещё воспевающий великую эпоху поэт в доме творчества государственных литераторов под Москвой, и какой-то там аспирант N, и стукач Геннадий. И гениальный романтик Новалис, и девочка Софи фон Кюн, и стихи Марика Пожарского, и его танец в студенческом клубе с двадцатилетней камелией, и меч, лежащий, как меч легендарных любовников, как роковая преграда, между Ирой и Юрой, «лезвию ко мне». И весь огромный мир, который встал перед автором за этими людьми-знаками, домами-знаками, башнями-знаками, и юность, и Германия, и Москва. И вот этот морок рассеялся, сочинение — перед вами.

2003

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие автора</i> .....	5
<i>Десять праведников в Содоме</i> .....	7
<i>Ксения</i> .....	45
<i>Иванов и Пожарский (К северу от будущего)</i> .....	87

**Хазанов Борис**  
**ЧЕРНЫЕ СТЯГИ ЭПОХИ**

Главный редактор издательства  
*Игорь Александрович Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*  
Корректор *Д. А. Потапова*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,  
e-mail: fempro@uandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна  
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция: тел. (812) 577-48-72, e-mail: aletheia92@mail.ru,  
191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Советская, д. 4, офис 304

**www.aletheia.spb.ru**

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести  
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru)  
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97  
«Фаланстер», М. Гнездиковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6  
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, [kentavr@kpole.ru](mailto:kentavr@kpole.ru)

*в Киеве:*

«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, [gron1111@mail.ru](mailto:gron1111@mail.ru)

*в Минске:*

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, [shop@literature.by](mailto:shop@literature.by)  
*в Варшаве:*

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,  
ul. Ptasia 4. Тел. +48 (22) 826-17-36, [szkola@jezykrosyjski.com.pl](mailto:szkola@jezykrosyjski.com.pl)

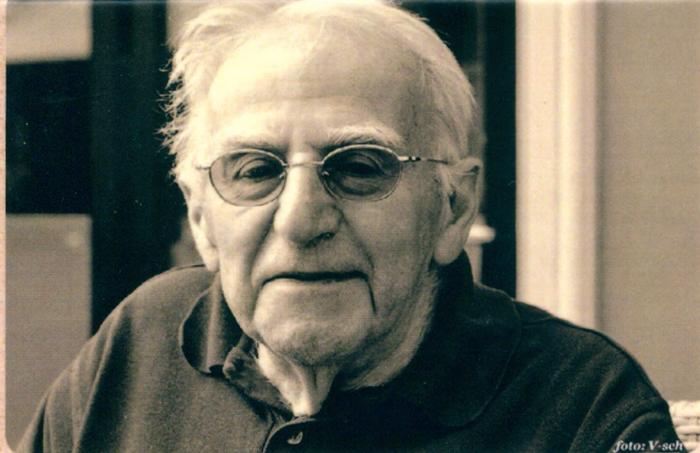
*в Риге:*

«Intelektuāla grāmata»  
Rīga, Kr. Barona iela 45/47. Тел. +371 67315727, [info@merion.lv](mailto:info@merion.lv)

**Интернет-магазин: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)**

Формат 60x88 1/6. Усл. печ. л. 17,48. Печать офсетная.

**Заказ №144145**



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М. Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет 22 книги Бориса Хазанова:

**Истинная история минувших времен.**

**К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе

**Миф Россия.** Статьи и эссе

**Подвиг Искариота.** Рассказы, статьи, письма

**В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы

**...Пиши, мой друг.** Переписка с Марком Харитоновым» (2 т.)

**Элизиум теней.**

**Пусть ночь придет.** Повести о женщинах

**Человек-перо.** Писатели и литература

**Письма из прекрасного далёка.**

**В садах за огненной рекой.**

**Тревога и труд.**

**Праматерь.**

**Зимнее солнцестояние.**

**Дай мне имя.**

**Просветленный хаос.**

**Время и вечность.** Мысли вслух и вполголоса

**Черные стяги эпохи**

